

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

**ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ**

ПАРАДИГМЫ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

**СБОРНИК
НАУЧНЫХ ТРУДОВ**

Издание второе, дополненное

**МОСКВА
2008**

ББК 81
П 18

Серия
«Теория и история языкознания»

*Центр гуманитарных научно-информационных
исследований*

Отдел языкознания

Редакционная коллегия:

Ромашко С.А. (главный редактор серии) – канд. филол. наук,
Кубрякова Е.С. – д-р филол. наук (ответственный редактор),
Лузина Л.Г. – канд. филол. наук (ответственный редактор),
Опарина Е.О. – канд. филол. наук.

**Парадигмы научного знания в современной
П 18 лингвистике:** Сб. науч. трудов / РАН. ИНИОН. Центр
гуманит. науч.-информ. исслед. Отд. языкознания; Ред-
кол.: Кубрякова Е.С., Лузина Л.Г. (отв. ред.) и др. – М.,
2008. – 184 с.
ISBN 978-5-248-00436-2

В сборнике представлены материалы, отражающие современное состояние лингвистики: происходящую смену парадигм и выдвижение новых подходов к решению актуальных проблем изучения языка. Рассматривается круг проблем, исследуемых на пересечении приоритетных парадигм лингвистического знания.

ББК 81

СОДЕРЖАНИЕ

Понятие *парадигма* и парадигмы лингвистического знания

<i>Е.С. Кубрякова.</i> Понятие «парадигма» в лингвистике: Введение.....	4
<i>В.З. Демьянков.</i> Термин <i>парадигма</i> в «родном» и «чужом» ареалах	15
<i>Л.Г. Лузина.</i> О когнитивно-дискурсивной парадигме линг- вистического знания	40
<i>Е.М. Позднякова.</i> Парадигмы научного знания в лингвис- тике и современное лингвистическое образование.....	49

Проблемы языкознания в разных парадигмах знания

<i>Е.Г. Беляевская.</i> Семантика в трех парадигмах лингвисти- ческого знания: (Критерии выбора метода).....	64
<i>О.К. Ирисханова.</i> Отглагольная номинализация в совре- менных парадигмах лингвистического знания.....	82
<i>Н.Н. Трошина.</i> Когнитивная парадигма в лингвостилистике.....	104
<i>З.А. Харитончик.</i> Проблемы словообразования в совре- менной зарубежной лингвистике: (15 лет спустя)	122
<i>М.Б. Раренко.</i> Лингвистика текста и теория ментальных пространств.....	142
<i>В.А. Пищальникова, А.Г. Сонин, К.С. Карданова.</i> Научные модели сознания: От образа к паттерну активации	158

ПОНЯТИЕ *ПАРАДИГМА* И ПАРАДИГМЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Е.С. Кубрякова

ПОНЯТИЕ «ПАРАДИГМА» В ЛИНГВИСТИКЕ: ВВЕДЕНИЕ

Уже более полувека продолжается **полемика** вокруг целесообразности использования понятия научной парадигмы знания, или просто парадигмы знания, в истории и методологии науки для характеристики той совокупности мнений и установок, которые присущи определенным сообществам ученых в определенный период времени. В разных исследованиях этот термин получает разное истолкование и используется то в более широком, то в более узком смысле, отходя от того содержания, которое придавалось ему Т. Куном в его интереснейшей монографии о структуре научных революций (Кун, 1977). Истории этого понятия и особенно возможностям его применения в лингвистической историографии мы уже посвятили несколько работ 90-х годов прошлого века. В настоящем исследовании мы предполагаем остановиться не столько на аналитическом обзоре взглядов, сложившихся по поводу понятия парадигмы, и даже не столько на истории его использования в специальной литературе по лингвистике, сколько на содержательной интерпретации этого важнейшего понятия, без которого, по нашему глубокому убеждению, невозможно проследить за сменой различных концепций, касающихся строения и организации языка и его сущностных характеристик, типичных для XX в., и выявить

главные черты в эволюции взглядов на цели и задачи теоретической лингвистики и новые области ее исследования. В иных терминах можно было бы сказать, что мы стремимся продемонстрировать, при каком определении парадигмы знания оно может принести действительную пользу и охарактеризовать главные черты и главные особенности истории лингвистической мысли за последнее столетие. Хочется с самого начала подчеркнуть, что предпринимаемое нами исследование важно не только для того, чтобы увидеть в разнообразных лингвистических школах и в деятельности целого ряда научных сообществ некие общие тенденции развития, и не только для того, чтобы подчеркнуть своеобразие и самобытность отдельных национальных школ, сколько для того, чтобы за всем внешним разнообразием направлений и течений в сфере теории языка увидеть подлинно революционные преобразования в понимании и определении языка, а главное, в понимании того, что может дать сама теоретическая лингвистика для характеристики *homo sapiens* и всех его отличительных признаков. Немаловажно, наконец, и то, что уточненное понятие парадигмы знания может, на наш взгляд, лечь в основу лингвистической историографии и упорядочить систематизацию взглядов на язык и плодотворность тех или иных подходов к его описанию, а в конечном счете способствовать обнаружению и интерпретации новых реальностей языка. Смысл каждой новой парадигмы знания в лингвистике и определяется для нас именно этим: открытием таких «реальностей», т.е. обнаружением свойств, аспектов, особенностей языка, ускользавших до определенной поры от внимания исследователей и / или до конца ими не понятых, не описанных или же не объясненных.

В последнее десятилетие явно участились попытки разобраться в том, что представляет собой облик современной лингвистики и, конечно, в каких исследованиях широко используется понятие парадигм знания (см., например: Кубрякова, 1994, и особенно: Язык и наука конца XX века, 1995; Берестнев, 1997; см. также: Алефиренко, 2002; Серова, 2002; цикл известных работ В.З. Демьянкова).

Хорошо известно, что понятие «парадигма знания», введенное Т. Куном, было достаточно простым и направленным прежде всего на объяснение причин научных революций как кардинальных перестроек в системах научных знаний, определявших до поры до времени состояние тех или иных конкретных наук и уровень их развития. «Под парадигмами, – писал в связи с этим Т. Кун, – я подразумеваю признанное всеми научное достижение, которое в течение определенного

времени дает научному сообществу модель постановки проблем и их решений» (Кун, 1977, с. 11). Очевидно, что такое определение имплицитно включает несколько важных идей: во-первых, парадигма строится на достигнутых результатах в определенной науке, во-вторых, на идее признания этих результатов определенным научным сообществом, в-третьих, на идее моделирования проблем и их решений по определенному образцу и, значит, идее существования таких образцов моделирования и т.п. Но чтобы достичь признаваемые всеми результаты, надо, по всей видимости, изменить обычный образ или стиль мышления и поставить новые проблемы (откуда же иначе появляется мысль о научной революции в той или иной области знания?). Таким образом, в определение парадигмы явно не включалась столь важная для самого Т. Куна и, действительно, новаторская идея о ходе развития науки отнюдь не путем накопления и постепенной кумуляции знаний, а в ходе скачка, разрыва с предыдущими традициями, «езды в незнаемое». Ведь, по мнению Т. Куна, именно изменение существующих взглядов «должно быть названо революцией», а следовательно, подлинно новаторским характером обладает исключительно появление новой парадигмы и в каком-то смысле – преодоление заблуждений старой (Кун, 1977, с. 128).

Ход развития конкретной науки может быть продемонстрирован на смене парадигм, на переходе от одной парадигмы к другой, от одной системы знаний к принципиально отличающейся от нее другой. Но для того, чтобы это произошло, «модель постановки проблем и их решений» не должна стать тормозом в эволюции конкретной науки, а потому существовать до той поры, пока подобная модель себя не исчерпает. Научная революция – это прежде всего непризнание прежнего набора знаний, разрешение «аномалий», обнаружение пробелов в этом наборе, критика и неприятие исходных допущений науки, господствовавших в определенный отрезок времени, и, как мне кажется, именно в этом основной пафос книги Т. Куна. В научном сообществе должно быть осознано, что именно тормозит прогрессивное продвижение науки вперед и какие наблюдения и факты противоречат сложившимся взглядам.

Мы не можем не согласиться с Т. Куном, когда он говорит о том, что «в каждом случае новая теория возникла только после резко выраженных неудач в деятельности по нормальному (читай – общепринятому в данном сообществе) решению проблем» (Кун, 1977, с. 107), и потому по-прежнему настаиваем, вопреки высказанному П.Б. Паршиным (Паршин, 1996) в полемике с нами мне-

нию, что готовых рецептов решения лингвистических проблем не может предложить ни одна теория. Другое дело, что зрелая наука указывает возможные направления поиска, рекомендует определенный набор исследовательских процедур и методик, а также ориентирует ученого на удачные образцы (модели) решения проблем.

И если, согласно Т. Куна, развитие науки представляет собой не плавное приращение знаний, предполагая периодическую коренную трансформацию ведущих представлений, и если накопление знаний происходит внутри определенной парадигмы, а революции приходится на кризисы сложившихся парадигм (см.: Серова, 2002, с. 151), то для историографии науки оказывается в принципе равно важным как исследование того, что входит в науку в моменты кумуляции знаний, так и того, что оказывается причиной прерывания и нарушения этого процесса. Очевидно при этом, что для описания и тех, и других ситуаций необходимо представление о системе знаний, относительно которой, как относительно определенного эталона, мы можем говорить либо о ее собственной эволюции, либо о возникающих отклонениях от нее, в конечном счете разрушающих саму исходную систему. Дело историографа – обнаружить главные параметры системы. Это, собственно, можно осуществить, вводя для характеристики целостной и интегрированной в единую систему совокупности знаний понятие парадигмы.

Важной чертой новой концепции Т. Куна явилось его предложение рассматривать историю науки не вокруг изложения отдельных теорий (как у К. Поппера) или даже отдельных (авторских) школ, но вокруг деятельности целых научных сообществ, разделяющих некие единые для них допущения и установки и в принципе «составляющих некоторое метатеоретическое единство» (см.: Кузнецов, 2001, с. 5).

Именно это положение и было, собственно, подхвачено далее И. Лакатосом, который, предложив свое понятие реальной реконструкции разных исследовательских программ в истории науки, заметил: «...в исследовательской программе Куна была новая идея: изучать следует не мышление отдельного ученого, а мышление научного сообщества». Он подчеркнул далее: «Реконструкция научного прогресса как размножения соперничающих исследовательских программ, прогрессивных и регрессивных сдвигов проблем, создает картину научной деятельности, во многом отличную от той, какая предстает перед нами, если развитие науки изображается как

чередование смелых теорий и их драматических опровержений» (Лакатос, 2001, с. 341–375).

Забегая несколько вперед, я бы хотела отметить, что внутри каждой из лингвистических парадигм XX в. (структурализма, генеративизма, когнитивизма и, наконец, вообще неофункционализма в целом) были широко представлены «соперничающие исследовательские программы», что, однако, не мешало им иметь в своем описании некие единые теоретические установки. Думается, что рост науки попросту невозможен без существования и сосуществования указанных исследовательских программ.

В полемике между Т. Куном и И. Лакатосом, касающейся совместимости или несовместимости конкурирующих между собой исследовательских программ или же вопроса о их соизмеримости / несоизмеримости между собой, были предложены не только важные уточнения относительно самого понятия парадигмы или же понятий научных сообществ и революционности тех или иных взглядов, но, как кажется, указаны и те конкретные сложности, которые возникают перед каждым ученым в его попытках охарактеризовать адекватным образом реальное состояние той науки, которой он непосредственно занимается. Такие попытки связаны неизбежно с выдвижением особых параметров в систематизации знаний в отдельно взятой науке и демонстрации основных, узловых моментов в росте и совершенствовании знаний об определенном объекте – в нашем случае о языке.

Применив опыт парадигмального анализа для характеристики порождающей, генеративной грамматики (далее – ГГ), мы сами уже тогда (в середине 90-х годов) сочли необходимым придать термину «парадигма» более точный смысл, т.е. выработать те параметры, на основе которых можно было бы представить в наиболее адекватном виде саму организацию знаний о языке и изучающей их науке. Тогда нам казалось достаточным ввести в понятие парадигмы представление о трех ее главных звеньях:

- установочно-предпосылочном,
- предметно-познавательном,
- процедурном (см.: Кубрякова, 1995, с. 167),

поскольку мы полагали, что, как и любая парадигма форм, последняя упорядочивается благодаря перечислению тех семантических этикеток (записываемых обычно в левой части парадигмы), заполнением которых (записываемых справа) описывается вся организация парадигмы. Не отходя и сегодня от этого общего остова, или костяка, парадигмы, мы сочли в то же время более эффективным

представить указанные звенья парадигмы в более дифференцированном виде. Основанием для этого решения послужило стремление предложить объяснение появлению в науке XX в. такой новаторской парадигмы знания, как когнитивная, а для этого провести сравнение и сопоставление (по определенным признакам) возникающей в 60-е годы XX в. когнитивной лингвистики (далее – КЛ) с другими существующими в то же время течениями и направлениями (парадигмами). Без такого сопоставления доказательств как научной революционности когнитивной науки (далее – КН) и КЛ, так и их принципиальных отличий от иных систем представлений знаний о человеке и языке, а также других подходов к их изучению, были бы совершенно невозможны для дальнейшего изучения понятия. Дальнейшее изложение парадигмы строится как объяснение предлагаемой структуризации этого понятия, учитывающей по возможности более полно ее параметры:

- хронотопические рамки парадигмы,
- условия, предпосылки и мотивы ее появления,
- установки и цели,
- предметные области ее анализа,
- используемые здесь методики,
- эвалютивный (оценочный) аспект,

т.е. всего шесть параметров организации парадигмы, дающие лишь в своей совокупности общее представление о «модели постановки проблем и их решений», предлагаемой в определенное время определенным научным сообществом и, главное, открывающей новые пути в исследовании языка и человека.

Понятие парадигмы знания отнюдь не исключает дополняющих его в определенных отношениях понятий школы или направления в изучении аналогичных объектов. Возможно, что и их можно описывать, применяя к ним предложенную нами выше анкету. Хочется вместе с тем подчеркнуть, что по своей совокупности черты они отнюдь не рядоположны: парадигма знания выделяется в историографии лингвистики именно для того, чтобы продемонстрировать принципиальное отличие общих установок и допущений достаточно крупного объединения научных сообществ, вместе вырабатывающих свои научно-исследовательские сообщества, свои научно-исследовательские программы, свои исходные положения, особые цели и задачи этих исследований и, главное, интегрирующие все эти принципы, установки и т.п. для решения того, что считается глобальной проблемой в изучении языка.

Интересно отметить, что и названия, даваемые разным объединением в истории лингвистической мысли, отражают так или иначе разные аспекты этих объединений: школы характеризуются чаще всего по их лидерам, т.е. создателям этих школ (ср. блумфилдианство, соссюрианство или хомскианство), направления – по целям изучения языка (ср. сопоставительное или сравнительно-историческое направления) или той главной особенности языка, которая интересует более всего ученых этого направления (ср., например, структурное или функциональное направления), парадигмы же получают разные названия, зависящие от того, какое из выделенных нами ее звеньев оказывается в фокусе внимания представителей данной парадигмы знания.

Высказав эти соображения, мы можем теперь перейти к более подробному освещению каждого из указанных звеньев, останавливаясь прежде всего на тех или иных чертах, которые либо вообще нами не были описаны ранее, либо описаны недостаточно детально. Итак, первое звено парадигмы – это ее хронотопические координаты. Оно связано с указаниями на время и место существования определенной научной парадигмы. Для некоторых парадигм, отдаленных от нас длительными промежутками времени и представленных в далеком прошлом, эти координаты устанавливаются лишь относительно. Парадигмы знания XIX и особенно XX в., напротив, по датам их возникновения определяются достаточно точно (так, возникновение генеративной парадигмы знания датируется серединой 50-х годов, а возникновение когнитивной – серединой 60-х и т.п.).

Существенным моментом в появлении новой парадигмы знания является и ее место. Хорошо известны, например, отличия европейской науки с ее парадигмами знания от американской (ярко отражено оно в разных функциональных парадигмах лингвистики), но обычно важную роль играет и более точная локация школы и парадигмы (ср. Пражский лингвистический кружок, с одной стороны, Лондонскую лингвистическую школу и возникновение американской и канадской версий когнитивизма, а позднее и российской – с другой). Всегда описывались по-разному и разные направления структурализма, притом каждое из них проявляло ярко выраженные черты своеобразия в зависимости от места их первоначального складывания – дескриптивизм в США, глоссематика в Дании, Пражский лингвистический кружок в Чехословакии и т.п. Все они представляли единую структурную парадигму знания, но на всем их дальнейшем развитии сказывались их национальные особенности и характеризующие их хронотопические

параметры; различными они оказывались прежде всего в системе предпосылочных знаний, т.е. на уровне второго звена парадигмы.

Мысль о необходимости ввести в понятие парадигмы в качестве ее обязательного звена предпосылочные для нее знания пришла к нам в связи с работами М. Хайдеггера и Г.-Г. Гадамера, касающимися истолкования нами мира и актов его понимания. Как отмечал М. Хайдеггер, в структуре каждого из таких актов всегда существует *Vorhabe* «пред-имение», *Vorsicht* «пред-усмотрение» (а может быть, и «пред-виденье»), *Vorgriff* «предвосхищение» (а, может быть, «предсхватывание»), а потому в любом акте понимания, по Г.-Г. Гадамеру, «притязание на полную бес-предпосылочность наивно» (см.: Гадамер, 1991, с. 71, а также: Малахов, Биbihин, 1991, с. 346). Думается, что эти положения могут быть вполне распространены и на акты познания, неотъемлемо и органично связанные с процессом понимания того или иного явления. Можно поэтому полагать, что в преддверии каждого революционного переворота в науке, а следовательно, и в появлении новой парадигмы знания уже что-то складывается и вызревает (например, при столкновении с такими аномальными явлениями, которые нельзя было истолковать в терминах прежней парадигмы). С одной стороны, возникает неудовлетворенность этой прежней парадигмой как тормозящей продвижение вперед; с другой – смутные предвиденья тех направлений в поисках ответа на поставленные вопросы, которые и можно охарактеризовать как *Vorhabe* или *Vorgriff*. Но сами эти «предвосхищения» заложены тоже исторически: по Гадамеру, надо преодолеть предрассудки прошлого, и это составляет одну из форм герменевтической рефлексии.

Нелегко думать, что указанный процесс начинается с нуля. Как подчеркивал немецкий философ, «методически руководимому пониманию придется не просто реализовать предвосхищаемое им, но и осознавать свои предвосхищения»; мы должны «удостовериться в собственных предмнениях и предсуждениях и наполнять акт понимания исторической осознанностью» (Гадамер, 1991, с. 77–78).

Возникновение новых парадигм связано с тем, что входило и входит в область предпосылочных знаний о рассматриваемых явлениях, а подобные знания, конечно же, исторически обусловлены и исторически зависимы. Это тем более справедливо для такой науки, как языкознание, с несколькими тысячелетиями опыта изучения и описания самых разных языков и глубочайшими традициями исследования языков в разных национальных школах и в разных странах. Небезынтересно указать на то, что даже в научных био-

графиях выдающихся ученых прошлого всегда принимались во внимание их учителя и их исходная специализация в ходе полученного ими образования; так, для Л. Блумфилда приводились сведения о том, что он начинал как германист, для Н. Хомского – что первоначальной областью его интересов была политология, что в становлении концепций Р. Ферса и Б. Малиновского особую роль сыграло знание «экзотических» языков.

Если для индивидуального развития каждого ученого предпосылочные его знания, накапливающиеся у него постепенно, играют такую значительную роль, то для определенного научного сообщества совокупность указанных знаний оказывается тем теоретическим фундаментом, на котором строится затем формируемая внутри него научная парадигма. При этом становится достаточно очевидным, какие из предпосылочных знаний постепенно обретают негативный характер, а какие действительно продолжают входить в число фундаментальных для данной науки сведений.

В связи со сказанным интересно, например, обратить внимание на предпосылочную составляющую когнитивной парадигмы в Америке и у нас в стране. В Америке когнитивная наука возникает в ходе резкой критики бихевиоризма, и одной из первых ее задач – так же, как у формирующейся примерно в то же время трансформационной грамматики, – становится борьба с названным психологическим направлением. Нельзя не увидеть неких точек соприкосновения генеративизма и когнитивизма в том, как в рамках первого провозглашается неинформативность поверхностных структур (т.е. непосредственно наблюдаемых фактов в отличие от того, что происходит на глубине), а в рамках второго – правомочность научных наблюдений в паре «стимул – реакция ($S \rightarrow R$)» при незнании того, что же характеризует процессы, происходящие между стимулом и реакцией. Можно и нужно учесть также, что дескриптивизму, господствовавшему в Америке (и заложившему в качестве предпосылочных знаний будущих двух ведущих парадигм – порождающей и когнитивной), было свойственно отрицание семантики. В генеративную же грамматику с 1963 г. вводится семантический компонент, а когнитивные разыскания в лингвистике обретают прежде всего семантический характер, так что нередко когнитивную лингвистику в целом отождествляют далее с когнитивной семантикой.

В России же достаточно быстро когнитивная лингвистика приобретает особую форму, так как здесь предпосылочные знания для научного сообщества в определенной его части оказываются со-

вершенно другими: в психологии огромное влияние оказывают взгляды Л.С. Выготского, а позднее и А.Р. Лурия; в лингвистике значимость семантики никогда не игнорировалась и т.д. Ранней версией когнитивизма здесь становится ономаσιологическое направление, а неослабевающий интерес отечественной науки к проблемам соотношения языка и мышления как бы подготавливает почву для рассмотрения этих проблем на новом материале и в условиях особого внимания ко всем познавательным процессам человеческого разума.

Выделяя в качестве особой составляющей научной парадигмы знания ее предпосылочное звено, мы можем перейти легко к описанию ее целеполагающей, или установочной, составляющей: отвергаемые или опровергаемые догмы прежней парадигмы начинают определять конкретные цели и задачи новой, а вместе с этим формируются и новые предметные области исследования.

Именно целеполагание в новой парадигме знания обуславливает ее название, которое одновременно можно рассматривать и как фиксирующее ключевое понятие данной парадигмы. Показательны в этом отношении поиски структуры языка, характерные для разных направлений структурализма, роль понятия порождения речи в генеративной парадигме, а далее и понятия когниции (cognition) в зарубежных версиях когнитивной науки, но понятий и когниции, и коммуникации (дискурса) для складывающейся в отечественной науке такой версии функционального в ней направления, как дискурсивно-когнитивной.

Сменяющие друг друга или конкурирующие друг с другом парадигмы знания характеризуются своими собственными областями исследования: фонология и морфология, эти излюбленные в структурализме уровни анализа, уступают место синтаксису в генеративной грамматике, семантике – в когнитивной лингвистике, дискурсу – в разных версиях коммуникативных парадигм. Но, пожалуй, еще более важной, чем эта относительно внешняя сторона разных парадигм знания, становится их устремленность на новые сферы анализа: попытки описать язык как особое порождающее устройство, особый механизм, порождающий синтаксические структуры, сменяются попытками представить язык как главное средство категоризации и концептуализации мира человеческим разумом в когнитивной парадигме знания, а в неофункциональных парадигмах настоящего времени эти попытки связываются со стремлением охарактеризовать язык как осуществляющий функции

общения и познания мира (при разных акцентах на ту или иную из функций или, наконец, на их интеграцию).

Список литературы

- Алефиренко Н.Ф.* Парадигмы современной науки о языке: Традиции и инновации // Изв. Волгогр. гос. пед. ун-та. Сер. Филол. науки. – Волгоград, 2002. – № 1. – С. 5–13.
- Березин Ф.М.* О парадигмах в истории языкознания XX века // Лингвистические исследования в конце XX в. – М., 2000. – С. 9–25.
- Берестнев Г.И.* О новой реальности языкознания // Филол. науки. – М., 1997. – № 4. – С. 47–55.
- Гадамер Г.-Г.* Актуальность прекрасного. – М., 1991. – 367 с.
- Кубрякова Е.С.* Из истории английского структурализма: (Лондонская лингвистическая школа) // Основные направления структурализма. – М., 1964. С. 307–353.
- Кубрякова Е.С.* Парадигмы научного знания в лингвистике и ее современный статус // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. – М., 1994. – № 2. – С. 3–15.
- Кубрякова Е.С.* Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века: (Опыт парадигмального анализа) // Язык и наука конца XX века. – М., 1995. – С. 144–238.
- Кузнецов В.Ю.* Понять науку в контексте культуры // Кун Т. Структура научных революций. – М., 2001. – С. 3–7.
- Кун Т.* Структура научных революций. – М., 1977. – 300 с.
- Кун Т.* Структура научных революций. – 2-е изд. – М., 2001. – 608 с.
- Лакатос И.* Факсификация и методология научно-исследовательских программ // Кун Т. Структура научных революций. – М., 2001. – С. 269–454.
- Малахов В.С., Бибихин В.В.* Комментарий // Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. – М., 1991. – С. 337–363.
- Паршин П.Б.* Теоретические перевороты и методологический мятеж в лингвистике XX века // Вопр. языкознания. – М., 1996. – № 2. – С. 19–42.
- Серова И.Г.* Образы науки, языка и науки о языке в культуре XX века // Вестн. Тамбов. ун-та. – Сер. Гуманит. науки. – Тамбов, 2002. – Вып. 3 (27). – С. 150–154.

В.З. Демьянков

ТЕРМИН ПАРАДИГМА В «РОДНОМ» И «ЧУЖОМ» АРЕАЛАХ

Введение

«Парадигма» – концепт, востребованный философией науки сравнительно недавно. До начала XX в. «парадигма» была «дремлющим концептом» этой области до того времени, когда термин начали интенсивно употреблять, размышляя о том, как упорядочивать знания о научных результатах.

Заслуга Т. Куна (Kuhn, 1962) заключается не во введении нового термина. Этот термин, в сходном, но не идентичном значении, бытовал в западноевропейской науке до него. Но важен акцент, сделанный в 60-е годы на «межчеловеческом» измерении даже наук¹, стремящихся к «объективности», «внеличностности».

Языкознание – одна из таких наук о человеке. Отвлечься от человеческого фактора для такой теории – все равно, что для биолога изучать анатомию человека исключительно по художественным изображениям. Однажды, впрочем, подобный эксперимент проводился и в языкознании: лингвистический структурализм был попыткой посмотреть на язык как на то, что существует «само по

¹ Под «науками» Кун имел в виду естественные науки, как этого требует употребление слова *science* в английском языке. Гуманитарные науки у Куна в эту группу дисциплин не входят. По (Hoyningen-Huene, 1989), парадигмы в «естественных науках» устанавливают связи между различными предметами, исследуемыми представителями данной дисциплины, – отношения сходств и различий между этими предметами. На основе этих отношений ученые рассматривают «сходные» предметы сходным образом.

себе и для себя». Этот эксперимент был приостановлен в середине 60-х годов, когда «антропоцентричность» начала успешно соперничать со структуралистской методикой исследования.

Итак, использование термина *научная парадигма* – одно из первых проявлений антропоцентричной философии науки.

В каком же смысле можно говорить о научных парадигмах в лингвистике? Этим вопросом мы и займемся в данном разделе.

Употребление термина в европейской науке

1.1. Романский ареал

Paradigma – в латыни «ученое» заимствование из греческого. Как это часто бывает, именно поэтому в художественных произведениях на латинском языке мы практически не встречаем этого термина, но в специальном значении находим его в научных текстах. Например, в работах по теологии и по риторике.

Так, в теологическом сочинении «Книга о душе» Тертуллиан (Tertullianus. Liber De Anima) пишет по поводу здорового сна: *Voluit enim deus, et alias nihil sine exemplaribus in sua dispositione molitus, **paradigmate** Platonico plenius humani uel maxime initii ac finis lineas cotidie agere nobiscum, manum porrigens fidei facilius adiuuandae per imagines et parabolas sicut sermonum, ita et rerum* – «Бог, действительно, захотел (а можно попутно заметить, что Он вообще ничего не допускает, в рамках своей воли, без подобных образов и теней) установить перед нами, образом более полным и совершенным, чем платоновский пример (букв. платоновская парадигма), путем ежедневного повторения, очерчивания перед нами состояния человека, особенно в том, что относится к началу и завершению дел; так, прямо помогая нашей вере, а не передавая нам образы и притчи, и не только словами, но и делами». При всей туманности данного пассажа, несомненно то, что под «парадигмой» имеется в виду не грамматическое понятие.

А в книге Доната по риторике «О тропах» (Donatus. De tropis) находим такое высказывание: *Homoeosis... Huius species sunt tres: icon, parabole, **paradigma*** «Гомеозис ... Три разновидности его: образ (икона), притча (назидание, наставление) и **парадигма**». И далее: ***Paradigma** est enarratio exempli hortantis aut deterrentis.* «**Парадигма** – это сказывание привлекательного или отталкивающего примера» (там же).

В итальянском языке этот термин также не част, находим его в текстах XV в., например у Франческо Колонна в книге «Гипноротомачия Полифилия, в которой излагаются все человеческие дела» (Francesco Colonna. *Hypnerotomachia Poliphili, ubi humana omnia*, 1467): *Polia racconta per qual modo la sagace nutrice per varii esempi et paradigmi l'amonisse vitare l'ira, et evadere le mine deli del* – «Полия рассказывает, каким образом прозорливая кормилица учила на нескольких примерах и **парадигмах** (образцах из жизни) сдерживать гнев...».

С этого времени и вплоть до XIX в. устойчиво употребляется словосочетание *esempi e paradigmi* «(отдельные) примеры и (целые) парадигмы». Так, Дж. Леопарди в своем дневнике (G. Leopardi. *Zibaldone: Pensieri di varia filosofia e di bella Letteratura*, 1823 – «Записные книжки: Мысли по поводу разных философий и художественных произведений») утверждает, что науки и системы могут развиваться только в рамках парадигм и отдельных примеров, наводящих на размышления – по поводу различных предметов: *Le scienze e i sistemi non possono andare che per via di paradigmi e di esempi, supponendo tali e tali subbietti, di tali e tali qualita in tali e tali circostanze ec. ovvero generalizzando, sia col salire da questi particolari esempi alla universita de' subbietti in qualche modo diversi, e delle combinazioni diverse, sm nelle cause sm negli effetti; sia in qualunque altra guisa. E tutte sono obbligate di fare piu o meno come le matematiche, che per considerare gli effetti delle forze, suppongono i corpi perfettamente duri, e perfettamente levigati, e l'assenza del mezzo, ossia il vyto, ec.; e cosm il punto indivisibile ecc.* – «Знания и системы могут развиваться только путем обобщения, когда отталкиваются от конкретных предметов, переходя к универсальности предметов в некоем роде различных и от различных их сочетаний – парадигм и примеров, связанных с теми или иными предметами, тех или иных свойств, в тех или иных обстоятельствах и т.д., либо различных по причине или по результату; либо же каким-либо иным образом. И все эти науки должны более или менее соблюдать сходство с математикой, и когда прибегают к идеализации, рассматривая результат действия сил, представляют себе взаимодействие тел идеально твердых, совершенно гладких, т.е. полагают, что нет промежуточных ступеней и т.п.; скажем, полагают, что точка неделима и т.д.»

В испанском «околонаучном» дискурсе термин *парадигма* употребляется как синоним для терминов «система» и «закономерность». Например, Хулио Валера в книге «Асклепигения: Философоловобный диалог» (J.Valera. *Asclepigenia: Dìblogo filosofico-amoroso*,

1878) пишет: *Aunque Pulqueria poseyese, no ya sylo este planeta que habitamos, sino todos los demós planetas, y los astros, y los cielos, no poseerna mós que un burdo remedo del Universo, tal como el Demiurgo le contempla en el **Paradigma**, antes de sacar la copia o el traslado.*— «Хотя в распоряжении Пульхерии была не только планета, на которой мы живем, но и все остальные планеты, а также звезды и небеса, у нее была всего лишь грубая копия Вселенной, как ее видит Демиург в образце (букв. «в **парадигме**»), перед тем как снять копию или сделать дубликат».

Наконец, по данным авторитетных **французских** словарей этот термин впервые был употреблен по-французски в 1561 г. в качестве термина грамматики со значением «пример»: *Mot-type qui est donnй comme module pour une dйclinaison, une conjugaison* «слово-тип, даваемое в качестве образца, модели для склонения или спряжения» (Petit Robert, 1997). Употребление же в общелингвистическом значении «парадигматичность» фиксируется в 1943 г.: *Ensemble des termes substituables situйs en un mйme point de la chaыne parlйe* «множество взаимозаменяемых терминов, допустимых в одной и той же позиции в речевой цепи» (там же). В художественной литературе вплоть до последнего времени этот термин очень редок. Например, встречаем его в романе Л. Блуа «Самоубийца» (L. Bloy. *Le Dйsespйrй*, 1886): *Haine, malйdiction, excommunication et damnation sur tout ce qui s'йcartera des **paradigmes** traditionnels...* — «Ненависть, проклятие, изгнание из общества и осуждение всем, кто осмелится отклониться от традиционных образцов» (букв. «парадигм»).

1.2. Германский ареал

1.2.1. Литература на немецком языке

В контексте «междисциплинарная парадигма» встречаем этот термин уже в XVIII в. Например, Г.К. Лихтенберг (1742–1799), которому приписывают первенство в употреблении этого термина за пределами грамматики (Kisiel, 1982), в своих знаменитых «Черновиках» говорил о «парадигме» как о «рычаге», с помощью которого образный взгляд оптика «прилагается» к объяснению явлений химии металлов: *Ich glaube unter alien heuristischen Hebezeugen ist keins fruchtbarer; als das, was ich Paradigmata genannt habe. Ich sehe ndmlich nicht ein, warum man nicht bei der Lehre vom Verkalchen der Metalle sich Newtons Optik zum Muster nehmen kйnne. Denn man muЯ*

notwendig heut zu Tage anfangen, auch bei den ausgemachtsten Dingen, oder denen wenigstens, die es zu sein scheinen, ganz neue Wege zu versuchen – «Из всех эвристических рычагов ни один мне не кажется более плодотворным, чем то, что я назвал парадигмой. Так почему бы не воспользоваться ньютоновской оптикой в качестве образца в учении о старении металлов. Даже сегодня можно попытаться пересмотреть и найти новые подходы к самым ясным явлениям или по крайней мере к тем, которые только кажутся очевидными» (G.Ch. Lichtenberg. Aus den «Sudelbüchern»).

Он же писал о переносе «парадигмы» научного рассмотрения из ньютоновской физики (оптики) на кантовскую философию. Например: *Ich glaube, daß man durch ein aus der Physik gewähltes Paradigma, auf Kantische Philosophie hätte kommen können* – «Я полагаю, что парадигму физики можно использовать в кантовской философии» (там же).

Таким образом, о Ньютоне, использовавшем понятия теории света для объяснения законов тяготения, можно говорить как о показательном примере. А при дальнейшем переносе можно назвать Ньютона парадигмой для такого нового взгляда.

Можно спорить с тем, насколько уместно или неуместно это употребление термина *парадигма*. Так, Ст. Тулмин пишет: «Лихтенберг доказывал, что в физике мы объясняем загадочные явления, соотнося их с некоторой стандартной формой процесса, или парадигмой, которую мы готовы принять в данный момент в качестве не требующей объяснения. В период расцвета кантианской и гегелевской философии эта идея временно ушла в тень, но была воскрешена в конце XIX столетия, когда работа Лихтенберга оказала такое же освободительное влияние на германоязычных философов, как работа Дейвида Юма – на англоязычных. Например, Эрнст Мах считал, что Лихтенберг оказал решающее влияние на его собственную эмпирическую теорию восприятия; в то же время термин «парадигма» был возрожден Людвигом Витгенштейном, который применил его и согласно его первоначальному назначению в философии науки, и в более общем плане – как ключ к пониманию того, каким образом философские модели, или стереотипы, действуют в качестве шаблонов или, говоря на языке инженеров, “зажимов”, формулирующих и направляющих наше мышление в predetermined, а иногда и в совершенно неподходящих направлениях» (Тулмин, 1972/84, с. 118). Л. Витгенштейн активно употреблял термин *парадигма* в своих кем-

бриджских лекциях 1938–1947 гг. Хотя лекции эти читались по-английски, здесь заметно влияние немецкого словоупотребления.

Уже к концу XIX – началу XX в. все чаще встречаем слово *Paradigma* не только в научной, но и в художественной литературе на немецком языке. Так, в знаменитых «Зарисовках господина Дамеса» (1913) графини Франциски цу Ревентлов встречаем: *Ja, Maria wurde fortan als Paradigma hingestellt, als lebendes Symbol für heidnische Möglichkeiten* – «Да, на Марию после этого смотрели как на образец (букв. **парадигму**), как на живой символ возможностей язычников» (Franziska Gräfin zu Reventlow. Herrn Dames Aufzeichnungen).

Своеобразным чемпионом был Курт Тухольский, у которого даже есть небольшой рассказ (написанный между 1907 и 1918 гг.) с этим названием. Однако везде термин этот привносит дух научности. Например: *Ich bin das Paradigma, an dem du deine scheuÄliche Wissenschaft übst, ich bin das wehrlose Opfer all deiner bubenhaften Schöler, schölerhaften Buben...* – «Я – та парадигма, к которой ты применяешь свою мерзкую науку, я – беззащитная жертва всех твоих подлых школьников, школярских подлецов...» (K. Tucholsky. Paradigma). Буквальный перевод немецкого предложения с *Paradigma* по-русски до сих пор звучит не очень естественно.

Часто говорят о парадигме в начале XX в. и социологи; например, у Г. Зиммеля читаем: *Jene durchgehend menschliche, wohl in tiefen metaphysischen Gründen verankerte Tendenz, aus einem Paar polarer Begriffe, die ihren Sinn und ihre Wertbestimmung aneinander finden, den einen herauszuheben, um ihn noch einmal, jetzt in einer absoluten Bedeutung, das ganze Gegenseitigkeits – oder Gleichgewichtsspiel umfassen und dominieren zu lassen, hat sich an der geschlechtlichen Grundrelation der Menschen ein historisches Paradigma geschaffen* – «Эта исключительно человеческая тенденция, по-видимому, корнящаяся в глубоких метафизических основаниях и состоящая в том, что из небольшого числа полярно противоположных понятий, находящих свои смысл и значимость друг в друге, чтобы затем этот смысл, на этот раз в абсолютном измерении, проявить в игре противоречий и равновесия, сделав доминантным, – создала в главном отношении полов историческую парадигму» (Simmel, 1919, S. 1–6).

Но особенно часто употреблял этот термин М. Вебер, например, в таком контексте: *Die hierhergehörigen Ausführungen Albertis sind ein sehr geeignetes Paradigma für diejenige Art von – sozusagen – immanentem ökonomischem «Rationalismus»* – «Относящиеся к данному

предмету рассуждения Альбертиса составляют очень удобную парадигму для той самой разновидности, так сказать, имманентного экономического *рационализма*» (M. Weber. Religionssoziologie. Teil I).

1.2.2. Англоязычная литература

Paradigm в английском входит, по свидетельству многочисленных тезаурусов, в ряд лексем типа **Prototype**: *prototype, original, model, pattern, precedent, standard, ideal, reference, scantling, type; archetype, antitype; protoplast, module, exemplar; example, ensample, paradigm; lay-figure* (Roget, 1952).

Впервые *paradigm* упоминается на английской почве в 1476–1485 гг. (см.: Webster, 1852). Первоначально – как *paradigma*, например: *I would not haue any one falsly to thinke that this Memorandum is presented to your person to implie in you defect of those duties which it requires; but sincerely to denote you as a paradigma to others* – «Я не допускаю мысли, что этот меморандум был представлен Вашей персоне с тем, чтобы намекнуть на Ваше несоответствие тем требованиям, которые в нем содержатся; этот меморандум указывает как раз на то, что Вы являетесь образцом (букв. парадигмой) для других» (Rachel Speght. Mortalities Memorandum, 1621).

Эта форма конкурировала с *paradigm* очень долго, вплоть до XIX в., ср. в одном из писем Томаса Джефферсона (1816): *I, too, have made a wee-little book from the same materials, which I call the Philosophy of Jesus; it is a paradigma of his doctrines, made by cutting the texts out of the book, and arranging them on the pages of a blank book, in a certain order of time or subject. A more beautiful or precious morsel of ethics I have never seen* – «Я также на основании тех же материалов составил небольшую книжечку под названием “Философия Иисуса”. Это – парадигма его учения, полученная в результате цитат и упорядоченная хронологически или содержательно в определенной последовательности. Более прекрасного или ценного очерка этики я еще не встречал» (Th. Jefferson, Letters, 1816).

В толковых словарях современного английского языка у этого слова находим две главные группы толкований (Webster, 1994).

1. За пределами грамматического описания

1а. Образец, пример для подражания или «модель» (*pattern, example, or model*).

Когда по-русски говорят о беспрецедентности исследования, о том, что некто начал с нуля, по-английски мы также – уже в XIX в. –

прочитаем об отсутствии парадигмы¹ или о единственности парадигмы², в том смысле, что образцов для подражания практически нет.

1b. Общее представление («концепт»), считаемое большинством людей в интеллектуальной сфере, в частности в естественных науках, наиболее эффективным для объяснения сложного процесса, сложной идеи или набора данных; например, в «Принципах эстетики» Д.Х. Паркера: *Sometimes, however, it happens that the standard continues to be embodied in some one or few works which, because of outstanding excellence, serve as explicit paradigms governing judgment; such works are classics in the true sense* – «Иногда, впрочем, бывает так, что стандарт по-прежнему воплощен в одном или нескольких произведениях, которые, в силу своего выдающегося превосходства, служат в качестве эксплицитных образцов (paradigms), на которые ориентируется суждение; такие произведения являются классикой в истинном смысле слова» (Dewitt H. Parker, *The Principles Of Aesthetics*).

В таком значении слово употребляется даже в поэзии конца XIX – начала XX в., например, в «Тайэре» Йейтса: *Plato thought nature but a spume that plays / Upon a ghostly paradigm of things* – «Платон считал природу всего лишь накипью, играющей / На прозрачной парадигме вещей» (W.B. Yeats, *The Tower*).

С середины 60-х годов английские словари указывают на значительный рост употребительности этого термина в научных текстах,

¹ Например: When Stevenson, writing from Samoa in the agony of his South Seas (a book he could not write **because he had no paradigm** and original to copy from), says that he longs for a «moment of style,» he means that he wishes there would come floating through his head a memory of some other man's way of writing to which he could modulate his sentences – «Когда Стивенсон, охваченный сильными чувствами под впечатлением от Южных морей, писал с Самоа (книгу написать он не мог, потому что перед ним не было **парадигмы** и источника, по которым он мог бы ее создать), что страдает от отсутствия «стилевого» момента), он имеет в виду, что ему хотелось бы, чтобы его осенило воспоминание о том, как кто-нибудь другой мог бы написать нечто, по образцу чего можно было откорректировать свои предложения» (Chapman, 1899).

² Например: Our notion of them is the most abundantly suggested and satisfied of all our beliefs, the last to suffer doubt. The difference is that our critics use this belief as their sole paradigm, and treat any one who talks of human realities as if he thought the notion of reality 'in itself' illegitimate – «Наше представление о них вполне укладывается в наши мнения и в наименьшей мере подвергается сомнению. Отличие состоит только в том, что наши критики опираются на это мнение как на единственную парадигму, а если кто-либо говорит о человеческих реалиях, то понимают это так, что слово реалии «само по себе» употреблено неуместным образом» (James, 1909).

когда мы читаем, что нобелевский лауреат Д. Балтимор (David Baltimore) *really established a new paradigm for our understanding of the causation of cancer* – «установил настоящую новую парадигму для нашего понимания причин раковых заболеваний». Выдающиеся ученые теперь устанавливают (establish) и ниспровергают (overthrow) парадигмы, объявляют о своей принадлежности к той или иной парадигме или о своем отходе от сложившихся парадигм: *the paradigms they were working in or trying to break out of*¹. То есть, по-английски, «работают в парадигме» и «вырываются из парадигмы»: парадигма является своеобразной научной средой (что по-русски передается оборотом «в рамках парадигмы»). Пособия по правильной английской речи сетуют на злоупотребления этим модным термином за пределами научной литературы. Так, не вполне нормативным считается такое употребление: *The paradigm governing international competition and competitiveness has shifted dramatically in the last three decades* – «Парадигма, регулирующая международную конкуренцию и конкурентоспособность, в последние три десятилетия сильно изменилась» (Heritage, 1996). По-русски также не вполне естественно звучат: *парадигма сдвинулась* или *парадигма пошатнулась*.

2. В грамматике: образец склонения или спряжения, задающий словоизменительные возможности лексемы. Например: *Then he swore comprehensively at the entire fabric of our glorious Constitution, cursing the English language, root, branch, and paradigm, through its most obscure derivatives* – «После чего он отчетливо выругался по поводу всего стройного здания нашей славной Конституции, обругав самыми маловразумительными производными словами английский язык, корень, ветку и парадигму» (R. Kipling. *The day's work*).

Как видим, в английском находим те же значения, что и в других современных европейских языках. Этот термин употребляется не только в научной литературе, но и в художественной, а также – что отличает английский узус от остальных – в поэзии и в произведениях для детей. Это обстоятельство накладывает ограничения на сочетаемость более заметные, чем в других языках.

Наконец, из экзотичных значений прилагательного *paradigmatic* отметим еще такое: «автор биографии религиозных деятелей как образцов превосходства христианства над остальными религиями» (Webster, 1952), т.е. автор какого-либо жития.

¹ «Парадигмы, в рамках которых они работали или которые они пытались сломать».

1.3. Русский узус

В русском языке этот термин издавна фиксируется в энциклопедиях и словарях. Например, в «Малом энциклопедическом словаре в 3-х томах» (1899–1902) Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона¹. В словаре Д.Н. Ушакова – только как грамматический термин², в современных толковых словарях – и как грамматический, и как синоним слов *образец, модель*³. В «Большом энциклопедическом словаре» находим также обе группы толкований⁴.

Однако в художественной литературе вплоть до конца XX в. этого слова практически нет. Один показательный пример встречаем как греческую реалию в историческом романе: *Разве ты не заметил, как похожа она лицом на Афину Партенос Фидия? Знаешь, та парадигма – модель для нескольких копий, в короне и с глазами из хризолита?* (И.А. Ефремов. Таис Афинская); *За модели и парадигмы хороший ваятель берет две тысячи драхм, за статуи и барельефы до десяти тысяч* (там же).

Но на границе XX–XXI вв. оно встречается нередко и в художественных произведениях, причем часто в пародийном контексте, например: *Чтобы докопаться до сути проблемы, я должен вскрыть корневую систему вашего патогенного бессознательного, выявить парадигму невротической симптоматики* (Борис Акунин. Сказки для Идиотов).

¹ «Парадигма (греч. paradeigma, “пример”) – в грамматике слово, служащее образцом склонения или спряжения; в риторике – пример, взятый из истории и приведенный с целью сравнения» (Брокгауз, Ефрон, 1899–1902).

² ПАРАДИГМ, парадигма, м., и (чаще) ПАРАДИГМА, парадигмы, ж. (греч. paradeigma – образец) (грам.). Таблица форм какого-н. слова, как образец склонения или спряжения (Ушаков, 1939).

³ Например: «ПАРАДИГМА, -ы, ж. 1. Образец, тип, модель (книжн.). П. общественных отношений. 2. В грамматике: система форм изменяющегося слова, конструкции (спец.). П. имени, глагола. П. прил. парадигматический, -ая, -ое» (Ожегов, Шведова, 1992).

⁴ А именно: 1. ПАРАДИГМА (от греч. paradeigma – пример – образец), в философии, социологии – исходная концептуальная схема, модель постановки проблем и их решения, методов исследования, господствующих в течение определенного исторического периода в научном сообществе. Смена парадигм представляет собой научную революцию. 2. ПАРАДИГМА в языкознании – система форм одного слова, отражающая видоизменения слова по присущим ему грамматическим категориям; образец типа склонения или спряжения. Понятие «парадигма» употребляется также в словообразовании, лексикологии и синтаксисе.

Особенно же часто – у Виктора Пелевина, например: *Вы как раз принадлежите к тому поколению, которое было запрограммировано на жизнь в одной социально-культурной парадигме, а оказалось в совершенно другой* (Чапаев и Пустота); *У нас был разговор о христианской парадигме, и поэтому мы говорили в ее терминах* (там же); *маленький транспарант с кривой надписью: «Парадигма перестройки безальтернативна!»* (Девятый сон Веры Павловны).

Однако в гуманитарном дискурсе конца XIX – начала XX в. термин этот звучит вполне естественно. Например: *Читатель простит мне эту автобиографическую справку: я спокойно пользуюсь местоимением «я» там, где оно имеет «парадигматическое» значение как в геометрическом рассуждении: «я беру угол ABC...»* (Ф.Ф. Зелинский. Религия эллинизма).

Впрочем, до прихода куновской концепции иногда находим слово это в таком контексте, который сегодня кажется необычным. Например: *И. Аскольдов, таким образом, монологизует художественный мир Достоевского, переносит доминанту этого мира в монологическую проповедь и этим низводит героев до простых парадигм этой проповеди* (Бахтин, 1929). Особенно показателен следующий пример: *Самые формы идеологического вывода могут быть весьма различны. В зависимости от них меняется и постановка изображаемого: оно может быть или простой иллюстрацией к идее, простым примером, или парадигмой, или материалом идеологического обобщения (экспериментальный роман), или, наконец, может находиться в более сложном отношении к результирующему итогу* (там же).

2. Парадигма в науке XX–XXI вв.

2.1. Парадигма в «куновском» смысле слова

С середины XX в. за термином *научная парадигма* закрепилось значение «признанные всеми научные достижения, которые в течение определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их решений» (Kuhn, 1962). В текстах Куна эта *парадигма* иногда «очеловечивается»: так, парадигмы, подобно людям, могут «мирно сосуществовать» между собой.

Следующие черты определяют парадигму в куновском смысле.

1. Система взглядов должна быть привлекательной, широко признанной среди большого количества сторонников, а в то же время нетривиальной.

То есть у парадигмы не может быть ровно одного представителя: сторонников должно быть, если следовать Куну, «достаточно много». Парадигма в «куновском» смысле, представленная одним, пусть даже и великим мыслителем, – такой же нонсенс, что в обычном языке словосочетание *многочисленная просьба*. В исходном же словоупотреблении у слова *парадигма* такого ограничения не было.

Иногда парадигмой конкретной науки называют в этой связи влияние других дисциплин (Grayling, 1996). Например, когда определяют, что «парадигмой знаний» для рационалистов (например, для Р. Декарта) была математика, в которой все положения добываются путем интуиции и рационального вывода. Именно поэтому для рационалистов существенны были вопросы о природе логического вывода, об оправданности его, о природе истинности. А для эмпиристов (например, для Д. Юма) такой «парадигмой» были естественные науки, в которых на первом месте находятся эксперимент и наблюдение. Для эпистемологов же, занимающихся проблемой знания, существенны обе парадигмы «организации знания» (в смысле Stone, 1996) – технологии организации разрозненных знаний в целостную картину.

В более позднюю эпоху – в XX в. – социологи науки констатируют другой парадигмальный переход: от философии сознания к философии языка (d'Entreves, 1996), (Ulrich, 1997). И вместе с тем от субъектно-ориентированного рассмотрения к рассмотрению предмета в рамках коммуникации, к «коммуникативной» парадигме (Habermas, 1985).

Таким образом, теория и даже целая дисциплина может стать парадигмой в силу своей привлекательности в данную эпоху. А привлекательность идей заключается, не в последнюю очередь, в продуктивности их. Абсолютно так же, как и в случае человеческих отношений: удачник для большинства привлекательней неудачника. Науке, по-видимому, чужды «материнские» инстинкты: когда есть выбор, мать скорее отдаст предпочтение своему слабому, неудачливому ребенку, нуждающемуся в ее опеке, чем удачливому и состоявшемуся. Наука – однозначно не мать своим ученикам, ей ближе другая роль – роль Кармен.

2. Сторонники одной и той же парадигмы должны опираться на одни и те же «правила и стандарты научной практики». Именно

так создаются предпосылки для того, что Кун называет «нормальной наукой», главная отличительная черта которой поступательное развитие («генезис») и преемственность в традиции того или иного направления исследования.

3. В рамках нормальной науки результаты выполнены в одном формате, т.е. «соположимы»: выводы, полученные одним представителем данной парадигмы, квалифицируются как повторяющие, обобщающие, конкретизирующие или опровергающие выводы предшественников. То есть парадигма – своеобразная накопительная система: исследователи, работающие в ее рамках, добавляют все новые и новые «единицы хранения». Переходя из одной парадигмы в другую, мы вынуждены все те же факты объяснять заново. Вот почему Б. Мальмберг считает, что концепция В. фон Гумбольдта не создавала новой парадигмы: корни этой концепции лежали в эпохе Просвещения, методы сбора и осмысления материала также были созвучны этой эпохе (Malmberg, 1990). Подход к языку как к «неисчерпаемо открытой возможности» (*unbegrenzt offene Möglichkeit*) отличает Гумбольдта от более поздних структуралистских концепций, действительно составивших новую парадигму (там же, с. 28): от взгляда на язык как на закрытую систему.

Иначе говоря, накопление знаний возможно только в рамках определенной парадигмы (Stegmaier, 1988). И это свойство можно использовать для выяснения того, составляли ли два направления теории основу двух разных парадигм.

4. В рамках конкретной парадигмы задачи решаются доказательным путем, когда опираются на достижения предшественников. Более того: достижения коллег – соратников по парадигме – существенны для науки в той мере, в какой на них можно опереться в дальнейших исследованиях основного предмета.

5. Отсюда вытекают важнейшие характеристики социологии науки: необходимость постоянного общения коллег, работающих в одной парадигме (в то время как ученые, работающие вне парадигм, подобны ракам-отшельникам), откуда возникают статусные отношения, иерархии ролевых отношений между людьми, по замыслу своему нацеленные на оптимизацию и ускорение научного прогресса. Более того, один и тот же человек может принадлежать сразу к нескольким разным парадигмам. Известный пример этого – Лейбниц (см.: Brown, 1989). Когда он писал по-французски, то ориентировался на среду, в которой в то время царили совершенно иные настроения и интеллектуальные течения (дух Просвещения), чем в родной ему Германии.

Для французов он писал именно в духе «систем и гипотез», здесь особенно популярна была его «Теодицея». Латинские же произведения его были выдержаны в схоластическом духе, адресованы другой публике и были не менее популярны, но в иной среде. Лейбниц представляет собой, таким образом, пример «бипарадигмальности», сходной с билингвизмом – двуязычием.

2.2. Парадигма как «вершинное достижение»

Кун сузил значение существовавшего до него слова и тем обрек свою теорию на всяческие недоразумения. Ведь для носителя английского языка *парадигма* обладает коннотацией с «высшим достижением», пределом совершенства, а потому с чем-то недостижимым. Говоря вслед за Т. Куном о парадигме, мы вольно или невольно присоединяемся к сторонникам «теоретического монизма», убежденным в том, что для каждого явления возможно только одно адекватное объяснение. И. Лакатос вместо этого термина предложил употреблять словосочетание *research programmes* «исследовательские программы» (Lakatos, 1970). Лакатос, как К. Поппер до него (Popper, 1959) и П. Фейерабенд до и после него (Feyerabend, 1991), призывает к «теоретическому плюрализму», именно эта презумпция лежит за термином *исследовательская программа*.

2.3. Парадигма как господство идеи

Итак, если сегодня ученый употребляет термин *парадигма* в позитивном или нейтральном смысле, то обычно он имеет в виду господство некоторой идеи, преобладание некоторого («парадигмального») взгляда на вещи.

Например, именно так определяет Ю.С. Степанов парадигму (или «философию языка»): «Господствующий в какую-либо данную эпоху взгляд на язык, связанный с определенным философским течением и определенным направлением в искусстве, притом таким именно образом, что философские положения используются для объяснения наиболее общих законов языка, а данные языка в свою очередь – для решения некоторых (обычно лишь некоторых) философских проблем» (Степанов, 1985, с. 4). И далее: «"Парадигма" связана с определенным стилем мышления в науке и стилем в искусстве. Понятая таким образом "парадигма" – явление историческое» (там же).

Драматизируя события в интеллектуальном мире, о появлении новой парадигмы иногда говорят как о «победе» какого-либо взгляда на вещи, т.е. о сильной теории («завоевывающей» новые рубежи науки), сравнимой с походами Чингисхана. Типичны такие фигуры речи: *Structuralism as defined by the Prague School was accepted as the basis of linguistic analysis. Then the Chomskyan paradigm swept the United States and eventually most of the world's academic community* – «Структурализм в смысле Пражской школы был основой лингвистического анализа. После этого хомскианская революция прошла метлой по Соединенным Штатам и даже по большинству академических сообществ» (Raffler-Engel, 1988, с. 245). И далее: *When the Chomskyan fad passed, structuralism was resuscitated with a vengeance and, unfortunately, pushed to different albeit equally absurd, extremes. Consequently, in recent times it has again been discarded as a faulty approach* – «После того, как увлечение Хомским прошло, структурализм воскрес с чувством мстительности и, к несчастью, дошел до других, но столь же абсурдных крайностей. В результате недавно от него вновь отказались как от заблуждения» (там же).

Итак, чтобы придать теории статус парадигмы, ее очеловечивают, приписывая воинственность и мстительность. Однако не будем забывать: сама теория (как мысленная конструкция) не бывает ни наступающей (революционной), ни вялой: нахрапистыми или деликатными бывают теоретики, «выдвигающие» и «продвигающие» эту теорию.

Продолжая это сравнение, отметим, что орудием (или «оружием») завоевания новых вершин являются не только новые методики наблюдения и обработки материала, но и интеллектуальный инструментарий – ключевые понятия. Например, Макс Штирнер произвел изменение философской парадигмы, когда в центр внимания ввел проблему «наслаждения жизнью» (*Genuss des Lebens*), вместо бытия предметом рассуждений философа стало «ничто» (*Nichts*): онтология предстала как «меоонтология», т.е. бытие как «небытие» (Linares, 1995). Вместо общего героем его выкладок стали отдельное, частное (*das Einzelne*) и даже единственное (*das Einzige*). В психологии смену парадигм часто связывают с осознанием того, что большую часть психической жизни определяет подсознание, а потому особый интерес привлекли к себе методики исследования того, как проявляются подсознательные мотивы в человеческом поведении (Obirst, 1990).

Л. Витгенштейн вошел в историю как автор нескольких парадигмообразующих идей. Так, он известен как популяризатор исполь-

зования (в качестве инструмента для обнаружения новых истин) понятия «семейного сходства», впоследствии позволившего открыть парадигму теории прототипов в психологии и теории языка (подробнее см.: Spied, 1993). Другая идея Витгенштейна – метафора «язык – это игра со своими правилами игрового поведения», по мнению некоторых (Dumoncel, 1991), заложена в поздних исследованиях Г. Фреге. Эта идея позже была модифицирована (в частности, Дж. Остином) в «парадигму» теории речевых актов, основная идея которых – «высказывание – не объект, а действие».

Среди этих инструментов мы находим не только радикально новые идеи, но и переосмысление старых понятий. Так, когнитивная парадигма научного знания, представляющая «одно из самых перспективных направлений в исследованиях междисциплинарного характера» (Кубрякова, 2004, с. 41), в языкознании представлена «парадигмой когнитивной лингвистики», в которой (по Rudzka-Ostyn, 1993) предлагаются следующие обновления старых взглядов:

- язык – одна из когнитивных областей человека (one domain of human cognition), связанный с другими областями и поэтому отражающий взаимодействие психологических, культурных, социологических, экологических и других факторов; поэтому-то язык должен быть предметом междисциплинарного исследования;

- языковая структура зависит от «концептуализации», которая, в свою очередь, является результатом опыта в освоении человеком себя и окружающего пространства, а также отношений к этому внешнему миру;

- единицы языка также подчиняются категоризации, приводящей к сетям «концептуальной» зависимости, организованным по принципам прототипов; большая часть этих связей носит метафорический и метонимический характер;

- грамматика мотивирована семантикой; я бы сказал так: грамматические свойства языка выводимы из семантических потребностей человека;

- значение языковой единицы – концептуальная структура, «конвенционально» связанная с этой единицей; связь эта основана на образных ассоциациях с физическим пространством; поскольку подобные концептуализации очень зависят от такого окружения, значения нельзя сформулировать в универсальных терминах, они уникальны для каждого языка;

- значения задаются в терминах «релевантных» структур знания (типа «концептуальных областей», «сцен», «наивных моде-

лей», «когнитивных моделей»); среди этих структур различаются фокусные и фоновые;

– в силу сказанного синтаксис, морфология, фонология, лексикон, семантика и т.д. зависят друг от друга, не обладают «автономией» от внеязыкового поведения и от внеязыкового знания.

В момент возникновения парадигмы, популяризации новых идей тексты новаторов организованы так, чтобы читатель все время отдавал себе отчет, в чем состоит новизна. Например, так устроены тексты А. Эйнштейна, Л. Ельмслева, Н.Я. Марра и т.д. Однако затем, после завоевания популярности, в период «нормальной науки» основные понятия, вводимые парадигмой, представляются как достояние всей науки в целом, а не как отдельная теория. Особенно когда достижения новой теории описываются в учебниках (Neuser, 1995). И понятно почему: на первых этапах необходимо «завоевать» сторонников, привлечь их яркими объяснениями и фактами. А составители учебников стремятся эти завоевания «легализовать» и освоить.

Исследование особенностей текста научных сочинений (например, Markkanen, Schroder, 1992) показало, что сторонники одних парадигм чаще прибегают к «загородочным» предикатам¹ (например, Хабермас, 1985), чем другие. Различаются авторы и по употребительности личных местоимений (авторских *я/мы*) активных и пассивных форм наклонения, модальных слов, определенных риторических средств: тексты одних парадигм более образны и метафоричны, чем тексты других. Принадлежность к парадигме часто сигнализируется и сходством стилистики в подаче мыслей.

2.4. Парадигма и взаимопонимание исследователей

На другое обстоятельство, связанное с употреблением термина *парадигма*, указывает Ст. Тулмин: «Основной парадокс классической теории научных революций состоит в следующем: она подразумевает, что между теми, кто поддерживает различные парадигмы, неизбежно взаимное непонимание. Этого заключения нельзя избежать до тех пор, пока мы рассматриваем парадигмы, или плеяды абсолютных предположений, в качестве единых и неделимых» (Тулмин, 1984, с. 134). И далее: «Принципиальное непонимание неизбежно только в том случае, когда

¹ По-английски *hedging*, т.е. средство «уйти от ответственности» за истинность своих слов. К. Поппер мог бы такие средства выражения поместить в рубрику нефальсифицируемых (а потому не подходящих для действительной науки) средств выражения (Popper, 1962).

обе партии в споре не имеют ничего общего в своих дисциплинарных устремлениях. Если же имеется хотя бы минимальная преемственность дисциплинарных целей, то ученые с совершенно несовместимыми теоретическими идеями в общем все же получают основу для сравнения достоинств соответствующих объяснений, и конкурирующие парадигмы или предположения, даже если они несовместимы на теоретическом уровне, все же останутся рационально соизмеримыми в качестве альтернативных способов решения общего круга “дисциплинарных” задач» (Тулмин, 1984, с. 136).

Выйти из этого заколдованного круга помогает следующее положение: «В естественных науках процедуры истолкования и понимания существенно маскируются периодами так называемой “нормальной науки”, когда основные ценности теории, входящие в ее парадигмы, не подвергаются сомнению и пересмотру. Однако в период кризиса естественнонаучной теории и разрушения ее парадигмы, когда на арену выходят конкурирующие системы ценностей, объяснение и понимание заметно расходятся. В такой ситуации споры о понимании становятся обычным делом» (Ивин, 1987, с. 43).

3. «Куновская» парадигма в языкознании

Некоторые исследователи (например, Tollefson, 1981) иногда различают две парадигмы социологически ориентированной теории языка:

– дескриптивную парадигму, с двоякой целью:

установить, кто, когда, при каких обстоятельствах, как и т.п. говорит на данной разновидности языка, употребляет данные средства выражения с данными намерениями;

установить причины, по которым социальные институты предрасполагают именно к данным стандартам выражения, а также по которым эти стандарты меняются, по-разному и в различной степени часто;

– оценочную («эвальноативную») парадигму, связанную с регулированием этих стандартов, с оптимизацией и «языковым строительством».

Во второй «парадигме» язык рядоположен остальным социальным факторам, таким как сырье, трудовые ресурсы и т.п. Однако очевидно, что обе парадигмы существовали и существуют в любую эпоху развития общества. Следовательно, если придерживаться

этой точки зрения, единой парадигмы в языкознании и быть никогда не могло. В теории научных парадигм различают (Kisiel, 1982):

- парадигмы в широком смысле – набор взглядов, ценностей и техник, используемых приверженцами некоторой парадигмы;

- парадигмы в узком смысле – образцы решения конкретных задач, служащие в дальнейшем образцами для трактовки других проблем данной же научной дисциплины, входя в состав или иллюстрируя «парадигму» в широком смысле слова.

Например, когда объясняют правила родного языка в рамках так называемой «традиционной» грамматики, следуя старым образцам, указывают, скажем, что глаголы с инфинитивом на *–еть* в форме 3 лица единственного числа имеют флексию *–ет* или (под ударением) *–ёт*, а затем перечисляют все исключения (типа *видеть, слышать, ненавидеть* и т.д.), которые отклоняются от этого правила и которые «надо запомнить». То есть сначала формулируется общее правило, а потом перечисляются исключения.

Этот технический прием – один из многих, составляющих парадигму в узком смысле слова. И именно этот набор приемов переходит по наследству от одной парадигмы (в широком смысле) к другой. В наибольшей степени подобные приемы используются в описаниях, ориентированных на «простого» потребителя – на школьного учителя. Вот почему говорят о парадигме (опять-таки в широком смысле) «традиционных», или «школьных», грамматик. В рамках сравнительно-исторической парадигмы, а затем в структурализме, в порождающей грамматике, в функциональной грамматике, в грамматике текста (этот набор «парадигм» констатируется в работе (Jacobsen, 1986)) подобные приемы либо запрещаются (поскольку там стремятся объяснить те же явления, не прибегая к списку исключений), либо допускаются с оговорками или маскируются. То есть парадигмы связаны между собой в узком и в широком смыслах.

К важнейшим конкретным задачам языковеда относятся описание и объяснение свойств системы языка и речевого поведения человека.

Когда говорят о «смене парадигм» (иногда такое выражение считают простым синонимом для другого, более привычного: научный прогресс (см.: Hundsnerscher, 1992)), имеют в виду не только возникновение новых идей, но и завоевание доверия к этим идеям со стороны все новых сторонников. В языкознании такие идеи связаны с основными представлениями о том, что же такое язык, как добываются, хранятся и используются языковые знания. Ведь в от-

личие от других эмпирических дисциплин, эксперимент в языкознании очень специфичен, об этом писал еще Л.В. Щерба (Щерба, 1974). Эксперимент лингвиста, в частности установление того, правильно ли данное выражение на данном языке, по существу опрос интерпретатора, часто самого себя. Фаза получения данных совпадает с фазой интерпретации этих данных. Статистическая обработка текстов, словарей и т.п. — это разновидность процедур обработки данных, а не эксперимент в собственном смысле. Однако очень часто результаты такой обработки бывают неожиданными даже для самого лингвиста.

В то же время в рамках одного текста стараются не употреблять этот термин одновременно в двух разных смыслах. Так, наблюдения над большим корпусом текстов по лингвистике показывают, что в описательных сочинениях, в которых термин *парадигма* используется в грамматическом смысле (парадигма спряжения, склонения и т.п.), избегают использовать этот же термин в куновском смысле. Например, более чем в 250 выпусках «Амстердамских исследований по теории и истории лингвистической науки» серии IV «Современные вопросы лингвистической теории» куновские парадигмы упоминаются считанное количество раз, зато очень часто употребляются такие словосочетания, как *case paradigms*, *verbal paradigms*, *passive paradigm* и т.п. А в серии III «Исследования по истории лингвистических наук» превалирует употребление *paradigm* именно в куновском смысле.

Очень долгое время в языкознании о парадигме в куновском смысле вряд ли можно было говорить всерьез.

Возьмем, например, тест на преемственность. Когда один лингвист-практик описывает грамматику амхарского языка, насколько он может опереться на достижения авторов грамматики русского языка? Ведь если у двух исследователей общими являются только рабочие определения грамматических категорий, «мета-язык» и т.п., это еще не всегда предопределяет выполненность остальных требований к парадигмам в смысле Куна.

Поэтому, когда историки теории языка говорят о парадигмах лингвистики в прошлом, далеко не всегда имеют в виду выполненность абсолютно всех названных условий.

Некоторое приближение лингвистики к состоянию «нормальной» науки (а может быть, только иллюзия этого?) появилось в период становления генеративной методики в 50–70-е годы (в работе (Anders, 1984) эта история излагается в терминологии Т. Куна). Так,

исходя из предположения об универсальности общей грамматической схемы описания языков, исследуя общую структуру порождающей грамматики, например, принципы упорядочения правил, принципиальную схему грамматических модулей и т.п., соратники по генеративизму несомненно опирались на результаты друг друга, даже если базировались на данных разных языков. В итоге сложилось такое положение, когда для отказа от какой-либо гипотезы о структуре грамматики английского языка достаточно было найти контрпримеры из какого-нибудь экзотического языка. Плюс бросающаяся в глаза непредопределенность решений, характерная для эмпирических наук: до проведения наблюдений нельзя было предсказать, каким должно быть искомое решение.

Однако в работе (Percival, 1976) высказывается сомнение в том, что генеративная лингвистика может быть названа парадигмой. А именно из-за социологического параметра: она не стала единственным стандартом научности для всех лингвистов мира.

Общественные науки вообще обречены на политеоретичность¹, а следовательно, на отсутствие единого парадигматического стандарта. В языкознании вряд ли когда-нибудь закончится «спор о парадигмах» (*Paradigmendebatte*), при котором речь идет не столько о расширении набора «позитивных знаний» – как в «нормальных» науках, – сколько (по Kopperschmidt, 1977) о злободневности и приложимости тех или иных теоретических объяснений к фактам, об их парадигмальности. Впрочем, есть «особые» разделы науки о языке, типа риторики, где знания не столько аккумулируются, сколько на каждом последующем этапе переоткрываются как бы заново: фазы обостренного интереса к тем или иным знаниям сменяются «фазами забвения» (там же, с. 3).

Другое измерение техник объяснения заключается, по Ю.Н. Караулову, в противопоставлении идеи о системно-структурном характере организации языка и идеи историзма: эти идеи «составляют две основные парадигматики современной лингвистики» (Караулов, 1988, с. 6). В рамках одной парадигмы факты употребления языка объясняются через факты того же синхронного среза, а в рамках другой парадигмы объяснительность заключается в описании того, как возникло и как развивалось то или иное свойство языка.

¹ Учитывая же, что «единообразие» – черта модерна, а «множественность» и «многозначность» – черты постмодерна (Friesen, 1995), можно сказать, что гуманитарные дисциплины исходно несли в себе постмодернизм.

Именно парадигму в узком смысле слова также имеют в виду, когда объясняют «оживление интереса к работе, связанной непосредственно с компаративистской процедурой», началом новой смены «научной парадигмы» (Дыбо, 1987, с. 16). Ведь имеют в виду конкретную методику сбора и объяснения конкретных фактов конкретных языков, а именно: привлекая к такому объяснению свойства родственных языков.

Еще одна особенность, различающая между собой конкурирующие научные парадигмы, – терминология, более принятая в одной парадигме и избегаемая в другой «по идеологическим мотивам». Так, сторонники когнитивной парадигмы сегодня, по мнению остальных членов научного сообщества, иногда злоупотребляют такими терминами, как *когниция*, *концептуализация* и т.п. Избыточное (с содержательной точки зрения) использование в лингвистике и этих терминов, и жаргона информационно-поисковых систем (об этом см.: Olsen, 1982) – что-то вроде опознавательного знака: «Я сторонник когнитивной парадигмы», особенно когда высказывания с этими терминами в тысячный раз повторяются почти буквально.

В этом отношении лингвистические парадигмы мало отличаются от парадигм в иных дисциплинах. Так, в теоретическом программировании тоже иногда разграничивали различные парадигмы, в зависимости от того, какова идеология (главная идея), лежащая в основе того или иного языка программирования: использование рекурсивных функций, идей структурного программирования и т.п. (Dasgupta, 1982).

История теорий языка показывает, что в лингвистике появление новой теории, новых идей не вызывает крушения и радикального пересмотра старых данных. Историю теоретического языкознания можно рассматривать поэтому как развитие парадигм, а не просто «идей и методов». Недаром до последнего времени наиболее часто в русскоязычной литературе говорили об «истории лингвистических учений», а не об «истории лингвистических теорий». Ведь русское понятие *учение* очень близко к куновскому «парадигма».

Заключение

Наш материал показывает следующее.

1. Термин *научная парадигма* за пределами научного метаязыка начинает употребляться более или менее часто на границе XIX и XX вв. Однако звездный час его пробил в середине XX в.,

когда стало ясно, что от человеческого фактора нельзя отмахнуться даже в так называемых «точных» науках. Причем одновременно этот термин получил новое, «куновское» значение, не совпадающее ни с этимологическим, ни с теми, которые зарегистрированы в западноевропейских и в русском языках на протяжении многих веков.

2. По значению и употреблению термин *парадигма* отличается от термина *теория*.

Список литературы

- Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского. – Л., 1929. – 187 с.
Большой энциклопедический словарь. – М., 1998.
Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Малый энциклопедический словарь: В 3 т. – СПб., 1899–1902.
Дыбо В.А. Книга Хенрика Бирнбаума и современные проблемы праязыковой реконструкции // Бирнбаум Х. Праславянский язык: Достижения и проблемы в его реконструкции. – М., 1987. – С. 15–16.
Ивин А.А. Ценности и понимание // Вopr. философии. – М., 1987. – № 8. – С. 31–43.
Караулов Ю.Н. Эволюция, система и общерусский языковой тип // Русистика сегодня: Язык: система и ее функционирование / Ред. Караулов Ю.Н. – М., 1988. – С. 6–31.
Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. – М., 2004. – 560 с.
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка – М., 1992. – 944 с.
Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка: Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства. – М., 1985. – 335 с.
Тулмин Ст. Человеческое понимание: Пер. с англ. – М., 1984. – 327 с.
Толковый словарь русского языка / Под ред. Ушакова Д.Н. – М., 1939. – Т. 3. – 1424 с.
Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Л., 1974. – 428 с.
Anders G. Der Wechsel von struktureller zur generativen Linguistik: Historiographie- und Begründungsprobleme in der Sprachwissenschaft. – Pfaffenweiler, 1984. – VII., 216 S.
Brown S. Leibniz and the fashion for systems and hypotheses // Philosophers of the Enlightenment / Ed. by Gilmour P. – Edinburgh, 1989. – P. 8–30.
Chapman J.J. Emerson and other essays. – N.Y., 1899. – 432 p.
Dasgupta S. Computer design and description languages // Advances in computers / Ed. by Yovits M.C. – N.Y. etc., 1982. – Vol. 21. – P. 91–154.
D'Entrives M.P. Introduction // Habermas and the unfinished project of modernity: Critical essays on 'The philosophical discourse of modernity' / Ed. by D'Entrives M.P., Benhabib S. – Cambridge, 1996 – P. 1–37.

- Dumoncel J.-C.* Le jeu de Wittgenstein: Essai sur la "Mathesis Universalis". – P., 1991. – 221 p.
- Feyerabend P.K.* Three dialogues on knowledge. – Oxford, 1991. – [V], 167 p.
- Friesen H.* Die philosophische Ästhetik der postmodernen Kunst. – Würzburg, 1995. – 102 S.
- Grayling A.* Epistemology // The Blackwell companion to philosophy / Ed. by Bunin N., Tsui-James E. – Oxford, 1996. – P. 38–63.
- Habermas J.* Der philosophische Diskurs der Moderne: Zwölf Vorlesungen. – Frankfurt a. M., 1985. – 214 S.
- Heritage: The American Heritage book of English usage: A practical a. authoritative guide to contemporary English. – Boston; N.Y., 1996–2000. – 802 p.
- Hoyningen-Huene P.* Die Wissenschaftsphilosophie Thomas Kuhns S. / Geleitet von Kuhn T. S. – Braunschweig; Wiesbaden, 1989. – [VIII]. – 288 S.
- Hundsnurscher F.* Does a dialogical view of language amount to a paradigm change in linguistics: Language as dialogue // Methodologie der Dialoganalyse / Ed. by Stati S., Weigand E. – Tübingen, 1992. – P. 11–14.
- Jacobsen B.* Modern transformational grammar: With particular reference to the theory of government and binding. – Amsterdam etc., 1986. – XV, 441 p.
- James W.* The meaning of truth: A sequel to "Pragmatism". – L. etc., 1909. – XXIII, 298 p.
- Kisiel T.* Paradigms // Contemporary philosophy: A new survey. – The Hague etc., 1982. – Vol. 2: Philosophy of science / Ed. by Flauisstad G. – P. 87–110.
- Kopperschmidt J.* Rhetorica: Aufsätze zur Theorie, Geschichte und Praxis der Rhetorik. – Hildesheim etc., 1985. – XII, 229 S.
- Kuhn T.S.* The structure of scientific revolutions. – Chicago, 1962. – 213 p.
- Lakatos I.* Falsification and the methodology of scientific research programmes // Criticism and the growth of knowledge / Ed. by Lakatos I., Musgrave A. – Cambridge, 1970. – 34–67 p.
- Linares F.* Max Stirners Paradigmenwechsel. – Hildesheim etc., 1995. – VII, 81 S.
- Malmberg B.* Wilhelm von Humboldt und spätere Linguistik // Proceedings of the Fourteenth international congress of linguists: Berlin (GDR), Aug. 10 – Aug. 15, 1987 / Hrsg. Banner W., Schildt J.V.D. – B., 1990. – S. 19–29.
- Markkanen R., Schroder H.* Hedging and its linguistic realizations in German, English and Finnish philosophical texts: A case study // Fachsprachliche Miniaturen: Festschr. für Christer Laurén / Hrsg. by Nordmann M. – Frankfurt a. M. etc., 1992. – S. 121–130.
- Neuser W.* Natur und Begriff: Zur Theorienkonstitution und Begriffsgeschichte von Newton bis Hegel. – Stuttgart; Weimar, 1995. – IX, 256 S.
- Obrist W.* Archetypen: Natur- und Kulturwissenschaften bestätigen C.G. Jung. – Olten; Freiburg (Breisgau), 1990. – 235 S.
- Olsen S.E.* On information processing paradigm in the study of human language // J. of pragmatics. – Amsterdam, 1982. – Vol. 6. – P. 305–819.
- Percival W.K.* The applicability of Kuhn's paradigms to the history of linguistics // Language. – Baltimore, 1976. – Vol.52, N 2. – P. 285–294.

- Petit Robert* – Nouveau Petit Robert: Dictionnaire analogique et alphabétique de la langue française. – P., 1997. – 987 p.
- Popper K.R.* The logic of scientific discovery. – L., 1959. – 453 p.
- Popper K.R.* Conjectures and refutations: The growth of scientific knowledge. – N.Y.; L., 1962. – XI, 412 p.
- Raffler-Engel W. von.* The relevance of structuralism to the study of non-verbal behavior // The Prague school and its legacy in linguistics, literature, semiotics, folklore, and the arts: Containing the contrib. to a Colloquium on the Prague school a. its legacy held at the Ben-Gurion U. of the Negev, Be'er Sheva, Israel, May 1984 / Ed. by Tobin Y. – Amsterdam; Philadelphia, 1988. – P. 245–261.
- Roget Peter M.* Roget's Thesaurus of English words and phrases / Rev. from Peter Roget by Browning D.G. – L., 1952. – 760 p.
- Rudzka-Ostyn B.* Introduction // Conceptualizations and mental processing in language / Ed. by Geiger R.A., Rudzka-Ostyn B. – Berlin; N.Y., 1993. – P. 1–20.
- Simmel G.* Philosophische Kultur: Gesammelte Essays. – 2, um einige Zusätze vermehrte Aufl. – Leipzig, 1919. – [III.] 295 S.
- Speltz J.* Althochdeutsches Wörterbuch: Analyse der Wortfamilienstrukturen des Althochdeutschen, zugleich Grundlegung einer zukünftigen Strukturgeschichte des deutschen Wortschatzes. – B.; New York, 1993. – Bd I, T. 1. – LXXVI, 578 S.
- Stegmaier W.* Die Innovation der Gegenwart // Tradition und Innovation: XIII. Dt. Kongress für Philosophie, Bonn 24–29. September 1984 / Hrsg. von von Kluge W. – Hamburg, 1988. – S. 59–69.
- Stone H.* The classical model: Literature a. knowledge in the seventeenth century France. – Ithaca; L., 1996. – XIX, 234 p.
- Tollefson J.W.* Alternative paradigms in the sociology of language // Word. – N.Y., 1981. – Vol. 32, N 1. – P. 1–13.
- Ulrich P.* Gewissheit und Referenz: Subjektivitätstheoretische Voraussetzungen der intentionalen und sprachlichen Bezugnahme auf Einzeldinge. – Paderborn etc., 1997. – 317 S.
- Webster N.* A dictionary of the English language, explanatory, pronouncing, etymological, and synonymous, with a copious appendix: Mainly abridged from the quarto dictionary of Noah Webster, LL. D. As rev. by Chauncey A. Goodrich, D.D. and Noah Porter, D.D. By William A. Wheeler. With supplement of nearly four thousand new words and meanings. Illustrated by more than six hundred engravings on wood. – Springfield (Mass.), 1872. – XI, 1000 p.
- Webster N.* Webster's New World college dictionary. – N.Y., 1994. – 1204 p.

Л.Г. Лузина

О КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНОЙ ПАРАДИГМЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Самой яркой чертой современного состояния лингвистики, по общему признанию, является постоянно происходящая в ней интеграция разных подходов к изучению языковых явлений. Примечательно и то, что в стремлении обосновать целесообразность совмещения тех или иных подходов исследователи все чаще обращаются к понятию парадигмы знания (На стыке парадигм, 2003). Признание необходимости взаимодействия разных парадигм обусловлено прежде всего тем, что существует сходный круг проблем, которые нередко оказываются в фокусе внимания представителей разных школ и направлений, различия же в предлагаемых решениях и интерпретациях языковых фактов зависят от постановки проблем, задаваемых определенной парадигмой. Кроме того, исследователи предпочитают говорить о взаимодействии / синтезе именно парадигм знания еще и потому, что различные научные парадигмы в меньшей степени противопоставлены друг другу, чем отдельные научные школы и направления (Кубрякова, 2003; Беляевская, 2003).

В данной статье мы попытаемся дать краткую характеристику новой интегральной парадигме лингвистического знания, которая была выдвинута и обоснована в трудах крупного отечественного лингвиста-теоретика Е.С. Кубряковой и которую она назвала **когнитивно-дискурсивной** (Кубрякова, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000 а, б; см. особенно: Кубрякова, 2004). Исследования Е.С. Кубряковой в этой области получили высокую оценку со стороны ее коллег (Виноградов, Степанов, Новодранова, 2002), а название этой парадигмы все чаще встречается во многих работах, особенно у представителей Москов-

ской, Тамбовской, Воронежской, Калининградской и других научных школ (см., например, такие сборники, как: Когнитивные аспекты, 2000; С любовью к языку, 2002; На стыке парадигм, 2003). В статье рассматриваются также некоторые исследования, выполненные с привлечением идей или в русле когнитивно-дискурсивной парадигмы знания.

Необходимость в новой парадигме знания и предпосылки ее формирования были обусловлены целым рядом факторов. Прежде всего это связано с осознанием того, что периоды рассмотрения главных единиц и категорий языка в изоляции от их реального употребления в известном смысле уже завершены. Проявившаяся тенденция к укрупнению лингвистических единиц, от минимальных до самых объемных – текста и дискурса, означала также, что выделение подобных единиц, их отождествление и классификация должны осуществляться в более широком контексте. В то же время изучение актуальных проблем функционирования языка, развитие коммуникативно-деятельностного и когнитивного подходов к их анализу поставили в фокус внимания ученых процессуальные аспекты речевой деятельности, сделав связную речь (дискурс) полноправным объектом лингвистического исследования.

К настоящему времени лингвистами проделана огромная работа в области дискурсивного анализа, и все больше внимания уделяется проблемам дискурса как использованию языка в реальном (текущем) времени в коммуникации. Поскольку дискурс многосторонен и не может быть адекватно описан без понимания когнитивных процессов, имеющих место в сознании участников общения при порождении и восприятии речи, становится очевидной необходимость изучения помимо собственно лингвистических и релевантных внешних параметров коммуникации их ментальных репрезентаций. При этом, несмотря на то, что когнитивные и коммуникативные аспекты дискурсивной деятельности тесно связаны между собой, их интегральное описание представляет для исследователей сложную задачу. Это связано с нерешенностью некоторых важных вопросов, как, например: какие из существующих трактовок самого понятия «дискурс» лучше всего отражают его суть; в какой мере языковые данные дискурса нуждаются в соотношении с экстралингвистическими сведениями и факторами и какими именно, и другие вопросы. Все это приводит к тому, что анализ когнитивных и функциональных характеристик дискурса в ряде современных исследований проводится преимущественно раздельно и параллельно (см. обзор: Цурикова, 2002).

Решение этих сложных вопросов связывается с развитием когнитивно-дискурсивной парадигмы знания, в основу которой положено «определение языка как когнитивного процесса, осуществляемого в коммуникативной деятельности и обеспечиваемого особыми когнитивными структурами и механизмами в человеческом мозгу» (Кубрякова, 2004, с. 406). Это определение означает не только необходимость изучать язык при исполнении им его двух главных функций – когнитивной и коммуникативной, но и понять, как эти функции постоянно переплетаются и взаимодействуют, а главное, как, подчеркивает Е.С. Кубрякова, согласуются друг с другом в возникновении, развитии и в современном состоянии языков. Центральной проблемой всего когнитивно-дискурсивного направления становится вопрос о том, как служит языковая система со всеми ее составляющими и когниции, и коммуникации.

Когнитивно-дискурсивная парадигма, рассматриваемая в настоящее время как наиболее перспективное направление, адекватно отражающее суть языка, еще не может рассматриваться как окончательно сложившаяся (Кубрякова, 2004, с. 405). Однако в специальных работах уже отмечалось, что общие контуры этой парадигмы проявляются достаточно определенно (Степанов, 1991; Кубрякова, 1994).

К отличительным чертам этой парадигмы относятся учет и **синтез** идей когнитивного направления, ориентированного на постижение деятельности человеческого разума в его связи с языком, с идеями коммуникативной или функциональной лингвистики (лингвистики прагматически ориентированной и дискурсивной), а также с идеями семиотического порядка.

Возникновение когнитивно-дискурсивной парадигмы знания связывается с эволюцией взглядов в отечественной лингвистике. Есть все основания считать, что теория номинации (в 70–80-е годы прошлого века) представляла собой одну из ранних версий когнитивной лингвистики в отечественном языкознании. В рамках этого направления вся номинативная деятельность изучалась как особая речемыслительная деятельность, протекающая во взаимодействии речи (языка) и мысли (мышления). Ономасиологические работы сделали возможным пересмотр достигнутого в новом когнитивном аспекте и создание первых версий когнитивной лексикологии и когнитивной ономасиологии (Жаботинская, 1992 и др.). На этом первом этапе развития когнитивной лингвистики внимание исследователей было сосредоточено на изучении различных структур представления знаний в языке (см.: Язык и структуры представления знаний, 1992). Таким образом,

преemptивность проявляется в переходе от такой ранней версии когнитивизма как ономазиологическое направление в отечественной лингвистике к более поздней версии его развития, часто принимающей форму когнитивного или концептуального анализа.

Достаточно четко проявились и **отличия** когнитивно-дискурсивной парадигмы от других парадигм. Характерной чертой этого направления, с одной стороны, является отказ от «узкого когнитивизма» с его сосредоточенностью на изучении ментальных репрезентаций или на стремлении связать все программы когнитивной науки с их разработкой и реализацией в виде компьютерных программ. С другой стороны, новая парадигма знания направлена на преодоление известной ограниченности коммуникативной парадигмы, где ведущая роль принадлежала теории речевых актов и анализу прагматических установок говорящих и прагматических условий совершения речевых актов.

В **установки** когнитивно-дискурсивного направления обязательно входит положение о том, что адекватное познание языка и языковых явлений происходит при анализе их в двух системах координат, т.е. на пересечении когниции и коммуникации (Кубрякова, 2004, с. 325). Это положение основывается на убеждении в том, что язык выполняет две главные функции – когнитивно-репрезентативную и коммуникативную (дискурсивную), что когниция и коммуникация в равной мере детерминируют специфику языка и его устройство. При этом самое главное заключается в том, что функции языка нельзя рассматривать изолированно, а только в их неперемennom и непрерывном согласовании.

Оба процесса – когниция и коммуникация (дискурс) – имеют дело со знаниями, мнениями, оценками людей, с обобщением их опыта, с верованиями и убеждениями и т.п., а также с объективацией всей этой информации в определенных языковых формах. Когнитивно-дискурсивная парадигма представляет собой попытку не только синтезировать разные точки зрения на один и тот же объект, но и дать объекту максимально полное и всестороннее описание, учитывая релевантные экстралингвистические факторы: психические, связанные не только с обработкой информации, но и с эмоциональной оценкой, социально-исторические и прагматические. Поэтому когнитивно-дискурсивный подход характеризуется **многофакторным анализом** каждого изучаемого языкового явления с точки зрения его роли в осуществлении как познавательных, так и коммуникативных процессов. К отличительным чертам этого подхода относятся также и разумное **сочетание** требований формальной строгости с используемыми функ-

циональными объяснениями, и, наконец, принцип **системности**. Согласно последнему, изучаемые явления должны быть описаны по их статусу не только относительно языковой системы, но и относительно тех более «высоких систем», частью которых является и сам язык (Кубрякова, 2000 а, б, в, 2004).

Когнитивно-дискурсивная парадигма представляет собой попытку дать объекту интегральное описание, при котором учитываются когнитивные и коммуникативные особенности его бытия в системе языка. Интегральный подход уже оправдал себя и доказал свою самостоятельность при рассмотрении целого ряда отдельно взятых языковых явлений. Плодотворность этого подхода проявилась при исследовании «такой уникальной единицы языка, как производное слово» (Кубрякова, 2004, с. 520–521). В первую очередь производное слово создается в когнитивных целях для объективации и последующей фиксации в языке определенной структуры знания или отражения и оценки определенного фрагмента мира. Однако производное слово возникает не только для того, чтобы закрепить соответствующим обозначением некую концептуальную структуру и придать ей знаковую форму. В акте семиозиса рождающемуся новому знаку придается особая мотивированная форма, т.е. концептуальная структура «упаковывается» совершенно особым образом, обретая форму однословного мотивированного знака, который становится удобным в коммуникации. По своей информативности и семантической насыщенности производное слово не уступает более крупным языковым единицам (словосочетанию и предложению). В то же время слово оказывается более маневренным и легко перемещаемым в речи знаком, а значит, и более удовлетворяющим требованиям коммуникации.

Положения когнитивно-дискурсивной парадигмы получают интересную разработку в исследовании лингвокреативной деятельности человека (Ирисханова, 2004). В основе этой деятельности, как считает О.К. Ирисханова, лежит когнитивная способность человека творчески реструктурировать старые и порождать новые ментальные конструкции. Эта способность составляет основу **концептуальной интеграции** широкого класса когнитивных процессов, при которых происходит соединение в единые ментальные пространства разнородных ментальных сущностей (концептуальных элементов, концептов, фреймов, других ментальных пространств). В исследовании подчеркивается **универсальность процессов концептуальной интеграции**, лежащей в основе как необычной, яркой, так и обыденной продуктивной дея-

тельности. В применении к языку эти процессы сводятся к тому, что употребляемые в ходе реального общения языковые выражения способствуют объединению или интеграции разнообразных концептуальных сущностей в новые подвижные и гибкие структуры – ментальные пространства. При этом формальная и семантическая конвенциональность языковых единиц не вступает в противоречие с индивидуальными творческими устремлениями коммуникантов, так как языковые формы служат лишь для запуска процессов концептуальной интеграции. Это дает возможность коммуникантам строить конфигурации ментальных пространств по своему усмотрению.

В то же время, подчеркивает автор, «универсальность концептуальной интеграции **не означает единообразия интегративных процессов**» (Ирисханова, 2004, с. 300). Механизмы концептуальной интеграции по-разному реализуются в языковых единицах. Для изучения специфики творческих интегративных процессов в работе выбран феномен отглагольной номинализации, под которой понимаются процессы замены глаголов и глагольных конструкций именами существительными или именными группами. Изучение отглагольных имен показало, что их образование и использование в дискурсе сопровождаются особой разновидностью процессов концептуальной интеграции, а именно – процессами **концептуальной гибридации**. Для них характерно не столько смешение уже сложившихся концептуальных структур из разных областей знания, сколько совмещение в одной лексической единице нетождественных способов представления объекта или ситуации, т.е. совмещение глагольного и именного способов концептуализации референта. Важно здесь то, что оба пути концептуализации остаются открытыми для участников коммуникации (принцип двойного доступа). Однако в реальном акте коммуникации в зависимости от интенций говорящих преимущество получает либо один, либо другой путь.

Наблюдения над функционированием гибридных имен в дискурсе позволяют сделать вывод, что неотъемлемой характеристикой дискурсивной деятельности является ее **эвристический характер** (Ирисханова, 2004). В контексте эвристики дискурс рассматривается как специфический вид деятельности, направленный на творческое решение коммуникативных задач, при котором коммуниканты действуют в условиях частичной неопределенности относительно когнитивных состояний друг друга, целей, этапов и выбора языковых средств и вынуждены опираться на интуицию. В условиях такой деятельности участникам общения необходимы некие нежест-

кие ориентиры, которые, с одной стороны, помогают говорящим находить точки соприкосновения в совместном проблемном пространстве, с другой – предоставлять свободу для интуитивных действий. В качестве таких ориентиров и выступают отглаженные гибриды, которые служат для реализации в дискурсе основных принципов эвристики, отражающих общие закономерности осуществления эвристической дискурсивной деятельности.

Плодотворность когнитивно-дискурсивного подхода была продемонстрирована при исследовании такой важнейшей грамматической категории языка, как **части речи**. Разрабатывая теорию частей речи на когнитивных основаниях, Е.С. Кубрякова отмечает, что в генезисе части речи обязаны своим происхождением не только когнитивным факторам, которые сыграли свою определяющую роль при общей категоризации окружающей человека действительности (Кубрякова, 2004). Переход от диффузного имени к такой коммуникативной единице, как предложение, тоже оказался важнейшим фактором в специализации частей речи и закреплении за ними особых дискурсивных функций. Объективируемые концептуальные структуры с разным содержанием и разной референцией начинали служить разными компонентами предложения и дифференцировались не только в силу своей разной концептуальной ориентации (предметной в противовес признаковой и т.п.), но и потому, что выполняли по преимуществу разные функции: идентифицирующую, характеризующую или модифицирующую. «Требования дискретизации мира, с одной стороны, шли рука об руку с требованиями линейной развертки речи и противопоставления внутри предложения топика и коммента, предмета речи и того, что о нем говорится, – с другой» (Кубрякова, 2004, с. 521).

С позиций когнитивно-дискурсивного подхода можно изучать не только отдельные языковые явления, но и сам дискурс, исходя из того, что «по самой своей сути дискурс – явление когнитивное, т.е. имеющее дело с передачей знаний, с оперированием знаниями особого рода и, главное, с содержанием новых знаний» (Кубрякова, 2000 а, с. 23). О когнитивно-дискурсивной парадигме знания можно говорить как о когнитивно-коммуникативной, предполагающей рассмотрение дискурса в терминах теории речевых актов и речевых событий, а также анализ собственно языковых его свойств и релевантных экстралингвистических факторов, с одной стороны, и описание структур репрезентации различных видов знания, определяющих речевые стратегии коммуникантов и выбор конкретных языковых форм в процессе их дискурсивной деятельности, – с другой (Цурикова, 2002).

Подход с этих позиций дает возможность по-новому осмыслить такое свойство дискурса, как его естественность. В предлагаемой концепции естественность дискурса определяется как его адекватность, уместность и приемлемость с точки зрения соответствия составляющих его коммуникативных действий «норме ожидания» субъекта оценки. «Нормы ожидания», включающие разнообразные стереотипы, входят в когнитивные модели соответствующих дискурсивных событий у всех представителей одного социокультурного сообщества. Исходя из этого, естественность дискурса рассматривается как явление когнитивно-прагматическое, которое не только связано с оценкой коммуникантами собственной (порождаемой) и воспринимаемой дискурсивной деятельности с точки зрения ее коммуникативной успешности, но и предполагает наличие в сознании коммуникантов идеализированных моделей оцениваемых дискурсивных событий и структур репрезентации знания, обуславливающих эту оценку. Анализ дискурсивной деятельности с точки зрения ее естественности и адекватности помещает все стороны этой деятельности в коммуникативно-когнитивную перспективу. Соответственно изучение закономерностей и механизмов дискурсивного процесса прямо связано с анализом того, что необходимо *знать* человеку, чтобы адекватно, с точки зрения данной культуры, *говорить* о мире. Важно и то, что при этом подходе по-новому рассматриваются самые разные аспекты дискурса – его структура, интерактивная организация, интенциональность, выбор языковых стратегий и др. Все эти аспекты дискурса, которые при других подходах воспринимаются как достаточно автономные, оказываются непосредственно и тесно связанными друг с другом, «составляя разные стороны одного – и очень существенного – качества коммуникативной деятельности людей, обеспечивающего их полноценное общение» (Цурикова, 2002, с. 429).

Список литературы

- Виноградов В.А., Степанов Ю.С., Новодранова В.Ф. Предисловие // С любовью к языку: Сб. науч. трудов. Посвящается Е.С. Кубряковой. – М.; Воронеж, 2002. – С. 10–11.
- Беляевская Е.Г. Три парадигмы семантических исследований: (Чем отличается когнитивный подход к лексической семантике от «традиционного») // На стыке парадигм лингвистического знания в начале XXI века: Грамматика, семантика, словообразование. – Калининград, 2003. – С. 60–72.

- Жаботинская С.А.* Когнитивные и номинативные аспекты класса числительных. – М., 1992. – 203 с.
- Ирисханова О.К.* О лингвокреативной деятельности человека: Отглагольные имена. – М., 2004. – 352 с.
- Кубрякова Е.С.* Парадигмы научного знания в лингвистике и ее современный статус // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. – М., 1994. – Т. 53, № 2. – С. 3–15.
- Кубрякова Е.С.* Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века: (Опыт парадигмального анализа) // Язык и наука конца XX века. – М., 1995. – С. 144–238.
- Кубрякова Е.С., Александрова О.В.* О контурах новой парадигмы знания в лингвистике // Структура и семантика художественного текста. – М., 1999. – С. 186–197.
- Кубрякова Е.С.* О понятиях дискурса и дискурсивного анализа // Дискурс, речь, речевая деятельность. – М., 2000 а. – С. 7–25.
- Кубрякова Е.С.* Вступительное слово // Традиционные проблемы языкознания в свете новых парадигм знания: Материалы «круглого стола». – М., 2000 б. – С. 3–10.
- Кубрякова Е.С.* Размышления о судьбах когнитивной лингвистики на рубеже веков // Вопр. филологии. – М., 2001. – №1 (7). – С. 28–34.
- Кубрякова Е.С.* Парадигмы лингвистического знания и их строение // На стыке парадигм лингвистического знания в начале XXI века: Грамматика, семантика, словообразование. – Калининград, 2003. – С. 3–10.
- Кубрякова Е.С.* Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. – М., 2004. – 560 с.
- Когнитивные аспекты языковой категоризации: Сб. науч. тр. / Отв. ред. Манерко Л.А. – Рязань, 2000. – 267 с.
- На стыке парадигм лингвистического знания в начале XXI века: Грамматика, семантика, словообразование: Материалы междунар. конф. / Отв. ред. Заботкина В.И. – Калининград, 2003. – 188 с.
- С любовью к языку: Сб. науч. тр., посвящ. Е.С. Кубряковой / Отв. ред. Виноградов В.А. – М.; Воронеж, 2002. – 492 с.
- Степанов Ю.С.* Некоторые соображения о проступающих контурах новой парадигмы // Лингвистика: Взаимодействие концепций и парадигм. – Харьков, 1991. – Вып. 1, ч. 1. – С. 9–10.
- Цурикова Л.В.* Естественность дискурса как когнитивно-прагматический феномен // С любовью к языку. – М.; Воронеж, 2002. – С. 419–429.
- Язык и структуры представления знаний: Сб. науч.-аналит. обзоров. – М., 1992. – 163 с.

Е.М. Позднякова

ПАРАДИГМЫ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ В ЛИНГВИСТИКЕ И СОВРЕМЕННОЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Цель данного исследования – показать, как представлены в вузовских учебниках и учебных пособиях по истории языкознания проблемы, касающиеся освещения истории этой науки с позиций описания ее в свете парадигм научного знания в лингвистике и парадигмального подхода в философии науки в целом. Очевидно, что подобная цель не может быть осуществлена лишь путем констатации положения дел в отношении содержания учебников по истории лингвистики, вышедших на рубеже XX–XXI вв. в нашей стране. Рассматриваемые учебники появились в тот период, когда научное сообщество лингвистов продолжало активно обсуждать три взаимосвязанных направления, непосредственно влияющих на содержание и установки в преподавании как лингвистики, так и ее истории. Этими направлениями являются историография лингвистики, эпистемология гуманитарного (лингвистического) знания и рассмотрение истории языкознания с точки зрения парадигм научного знания (Ищенко, 2003; Кцгпег, 1995 а, b; Кубрякова, 1995). Поэтому данная статья имеет и другую цель – показать, как современные установки ученых, работающих в области истории языкознания и лингвистики в целом, соотносятся с движением научной мысли в пределах вузовского образовательного пространства. Более того, с 2000 г. обозначенные выше цели приобрели характер императива для преподавателей этой дисциплины.

В государственном образовательном стандарте направления «Лингвистика и межкультурная коммуникация» содержание предме-

та «история языкознания» представлено следующим образом: «Научная парадигма в лингвистике как результат выделения определенных свойств языка. Смена научных парадигм в истории лингвистики как отражение изменения уровня науки в целом и уровня научных знаний в конкретной области науки». Далее упоминаются логическая парадигма, сравнительно-историческое языкознание, натуралистическая парадигма, идеоэтническая парадигма, социологическая парадигма, структурно-функциональная парадигма, современная научная парадигма. В рамках последней смены научных направлений второй половины XX в. не обозначены как парадигмы, а лишь как частные лингвистики: психолингвистика, социолингвистика, лингвистика текста, коммуникативная лингвистика, когнитивная лингвистика (Лингвистика и межкультурная коммуникация..., 2001).

Российские теоретики языкознания, представляющие историю лингвистики в учебниках и учебных пособиях, вышедших в свет за последнее десятилетие, как правило, не оперируют понятием «парадигма» и соответствующей терминологией в духе Т. Куна (Кун, 1977). Ведущим отечественным лингвистам никогда не был чужд широкий взгляд на историю языкознания, не ограниченный рамками какого-либо одного теоретического направления, поэтому отказ от терминологии парадигмального подхода скорее можно объяснить традициями представления материала в вузовских учебниках и учебных пособиях по хронологическому принципу (на что и ориентировали программы курса «История языкознания» 80-х годов прошлого века (Программы педагогических институтов..., 1980), а не отвержением парадигмальной идеи как таковой. Тем не менее некоторые принципы парадигмального подхода прослеживаются в целом ряде работ. В ходе обзора попытаемся указать на применение авторами учебников и учебных пособий этих принципов. В то же время неблагодарной задачей для автора данной работы было бы «истолкование» современных российских учебников по истории лингвистики в духе «парадигм лингвистического знания», если сами авторы этого не предполагают.

Коль скоро перед современным лингвистическим образованием стоит задача представить историю науки о языке парадигмально, искать парадигмальный подход к представлению знаний в области лингвистики нужно, очевидно, прежде всего не в терминах, а в сути излагаемого.

Характеризуя лингвистические парадигмы знания в коллективной монографии «Язык и наука конца XX века» (Кубрякова, 1995), Е.С. Кубрякова описывает их структурные звенья и отличительные

черты, совмещая общие принципы науковедения и историографии науки (ср. Кипнер, 1995a; Кипнер, 1995b; Кроче, 1998) с опытом анализа американской, западноевропейской и отечественной науки второй половины XX – начала XXI в. Как отмечает Е.С. Кубрякова, такой широкий взгляд на парадигму лингвистического знания «представляется нам удобным способом выделить некие концептуальные единые моменты за внешним разнообразием подходов, средством обнаружить сходство “на глубине”, прочертить основные линии развития науки в рассматриваемый период и выделить главные тенденции в ее поступательном движении. Это понятие диктует необходимость определить ключевые концепты определенных эпох и отличить эволюционные периоды от революционных, охарактеризовать природу новаторских идей» (Кубрякова, 1995, с. 165).

Итак, каким же образом прочерчивают основные линии развития науки о языке российские ученые в своих вузовских курсах? Далее мы изложим общие идеи о построении курсов истории языкознания у В.М. Алпатова (Алпатов, 1999), Т.А. Амировой, Б.А. Ольховикова, Ю.В. Рождественского (Амирова, Ольховиков, Рождественский, 2003); Н.В. Боронниковой и Ю.А. Левицкого (Боронникова, Левицкий, 2002); Л.Г. Зубковой (Зубкова, 2002); В.В. Колесова (Колесов, 2003); И.П. Сусова (Сусов, 2003). Эти учебники и учебные пособия были изданы в Москве, Санкт-Петербурге, Твери и Перми.

В.М. Алпатов в основу построения курса положил хронологический принцип. Он обосновывает ближнюю границу описания истории лингвистики следующим образом: «Один из спорных вопросов, вставших перед автором, – хронологические рамки того, что излагается. Сейчас уже ясно, какое значение имела для мировой лингвистики “хомскианская революция” конца 50-х – начала 70-х [...] С другой стороны, итоги того периода, который наступил после “хомскианской революции”, подводить еще рано. Многое еще не устоялось. Попробовать довести изложение до второй половины 90-х годов XX в. достаточно сложно. По-видимому, все же, очерк лингвистики последних двух десятилетий – особая задача, требующая не столько исторического, сколько логического подхода» (Алпатов, 1999, с. 9).

Авторы учебного пособия «История языкознания» положили в основу построения курса следующий принцип систематизации научных направлений в истории языкознания: систематизация теорий истории языкознания подчиняется особенностям содержания самих теорий. «История языкознания показывает, что картина язы-

ка, моделируемая лингвистикой, может создаваться, исходя из разных отправных положений, разного эмпирического материала и может иметь разные сферы использования. В зависимости от этого будет меняться и тип изображения языка, т.е. тип языковой теории» (Амирова, Ольховиков, Рождественский, 2003, с. 16). Описание истории языкознания, как подчеркивается авторами, строится с опорой на такие категории, как этап в развитии науки, научное направление, научное течение, научная школа, научная система и т.д., которые являются отражением основных ступеней поступательного движения лингвистической науки.

Авторы «Лекций по истории лингвистики» (Боронникова, Левицкий, 2002) заявляют следующие исходные положения: акцент делается не столько на смене парадигм, сколько на преемственности идей; важно выявить некую единую линию развития лингвистической мысли; сложность состоит в последовательном следовании двум линиям представления материала – хронологической и логической. Они отмечают, что «революционные» идеи в развитии лингвистики имеют свои истоки в прошлом науки о языке. «Мы считаем, что в развитии лингвистики никаких революций не совершалось – просто вспоминались давно открытые и забытые истины» (там же, с. 4).

Л.Г. Зубкова в учебном пособии «Общая теория языка в развитии» считает, что за генеральную линию построения курса истории языкознания следует принимать эволюцию взглядов на соотношение бытия, мышления и языка. Этот принцип, по-разному реализовавшийся в различные исторические периоды, позволяет автору выделить среди основных школ и направлений аспектирующие и синтезирующие концепции научного лингвистического знания. Теории, выдвигающие некоторый частный аспект языка, отдельную сторону объекта исследования в языкознании, называются аспектирующими. «Неудивительно, что разработка каждой новой теории, выдвигающей на первый план очередной частный аспект языка, нередко начинается с отрицания либо одного из предшествующих аспектирующих направлений [...], либо всей старой лингвистики» (Зубкова, 2002, с. 21). Синтезирующие концепции не отменяют друг друга, поскольку они являются последовательными стадиями системы знаний об объективных сущностных характеристиках объекта (языка). Синтезирующие концепции – это концепция языкового знака Платона, теория В. фон Гумбольдта, труды А.А. Потебни и И.А. Бодуэна де Куртенэ, психосемантика Г. Гийома и системно-типологическая концепция Г.П. Мельникова. По мнению Л.Г. Зубковой, идея синтеза весьма актуальна и для современного этапа

развития лингвистики. Это демонстрирует и современный этап лингвистического экспансионизма (Кубрякова, 1995).

В книге В.В. Колесова «История русского языкознания: Очерки и этюды» хотелось бы выделить раздел, связанный с обсуждением того, какова роль научной школы (Колесов, 2003; Кузнецов, 2003) в движении гуманитарного знания. Этому автору не чужда терминология парадигмального подхода к истории языкознания, а его оценка научных школ схожа с описанием Т. Куном состояния зрелой науки, находящейся в предкризисном или кризисном состоянии. Он отмечает, что в период создания сравнительно-исторического метода о школах говорить еще рано, они возникают при стабилизации данной парадигмы (1870-е годы).

Научная школа проходит ряд этапов развертывания, связанных с разработкой объекта, предмета и метода. По достижении определенного этапа зрелости школе необходимо уяснить основной принцип своей исследовательской деятельности, а это возможно только в столкновении с позициями другой школы и взгляде на предмет также с ее точки зрения (Колесов, 2003). «Только опираясь на предшествующее знание и отталкиваясь от новых же мнений (парадоксов) смежных научных школ, представители данной научной школы могут выдвинуть предварительную гипотезу, т.е. также и свое “мнение” включить в общий контекст науки. И только признанная как абсолютная ценность всеми гипотеза становится теорией, обеспечивающей развитие знания в данной области науки. Этим определяются роль и значение научной школы в структуре “нормальной науки”» (Колесов, 2003, с. 397).

Итак, мы показали различные принципы построения курсов истории языкознания, которые и приведем в порядке их предлагаемого следования: хронологический; в соответствии с содержанием самих теорий; основанный на преемственности идей; строящийся на отношении к проблеме бытия, мышления и языка с выделением аспектирующих и синтезирующих концепций; принцип, рассматривающий движение лингвистической мысли как процесс зарождения, созревания и развития либо заката научных школ. В целом установки авторов учебников отражают три звена парадигмы лингвистического знания, выделенные Е.С. Кубряковой (Кубрякова, 1995): установочно-предпосылочное; предметно-познавательное; процедурное, а также структуру и цели самого научного сообщества. В следующей реферируемой работе, также не использующей терминологию «парадигмы научного знания», указанные звенья прослеживаются в соответствии с изложением материала автором.

И.П. Сусов свой учебник для студентов старших курсов и аспирантов «История науки о языке» выстраивает по хронологическому принципу от III – I тысячелетия до нашей эры до последних десятилетий XX в. (Сусов, 2003). В данном учебнике представлены не только факты из истории языкознания и концепции ученых, но и размышления автора о том, что же такое история науки о языке. Обратимся к тем главам, в которых ученый излагает историю «нового языкознания». И.П. Сусов определяет время формирования «нового языкознания» 10–20-ми годами XIX в. В это время «новое языкознание» четко определило свой объект, отделив его от объектов таких наук, как филология, философия и логика. Появление «нового языкознания», т.е. языкознания как науки, было подготовлено не только всей совокупностью взглядов на язык в предшествующий период в различных культурах и регионах мира (ср. «предпарадигмальный этап»), но и принятием языкознанием в начале XIX в. принципов историзма / эволюционизма, разработанных в естественных науках.

Если представить положения И.П. Сусова в терминах парадигмального подхода, весь объем знаний о языке к началу XIX в. можно было бы назвать предпосылочным знанием (Кубрякова, 1995), а принцип историзма / эволюционизма – установочной частью (там же) сравнительно-исторической парадигмы. «С принятием этого принципа языкознание оказалось в состоянии заявить о себе как о самостоятельной науке со своим объектом познания и собственными исследовательскими методами» (Сусов, 2003, с. 148). Следовательно, И.П. Сусов обращает внимание и на *предметно-познавательную*, и на *процедурную* (Кубрякова, 1995) части сравнительно-исторической парадигмы, не называя их так. Автор определяет и период, в течение которого лидирующая роль закрепилась за сравнительно-историческим языкознанием – вплоть до 10–20-х годов XX в. Как пишет И.П. Сусов, сравнительно-историческое языкознание на этом этапе претендовало на роль единственно научного.

В терминологии Т. Куна этот этап можно было бы назвать этапом «*нормальной науки*» в лингвистике, для которого было характерно принятие методов и методологии (историзм / эволюционизм) сравнительно-исторического языкознания. Как известно, по Т. Куну, этап «нормальной науки» характеризуется принятием устойчивой и признанной всем научным сообществом парадигмы. «Основная концептуальная нагрузка парадигмы заключается в том, что она, с одной стороны, исключает все не относящиеся к парадигме и не согласующиеся с ней концепции, теории, методы, с другой стороны, она ориентирует научное сообщество и исследовательскую деятельность на использование теории для предска-

зания новых феноменальных областей, а также на усовершенствование самой парадигмы, посредством переинтерпретации имеющихся наличных теорий. Гарантацией стабильности “нормальной науки” выступает ее консерватизм: вся исследовательская деятельность ведется в рамках принятой парадигмы» (Керимов, 1996, с. 357).

Позволим себе заметить, что консерватизм парадигмы стал, возможно, причиной того, что «своим веком не было востребовано оригинальное, глубокое по своему содержанию, но весьма сложное для осмысления лингвофилософское учение В. фон Гумбольдта» (Сусов, 2003, с. 155). «Гумбольдтианская лингвистическая парадигма» (Правинова, 2000) была в большей степени осмыслена уже в XX в., хотя ее параллельное существование с главенствующей парадигмой признается многими современными историками языкознания (Алпатов, 1999; Березин, 1984; Амирова, Ольховиков, Рождественский, 2003).

Следует также отметить, что концепции «предпарадигмального этапа», связанные с синхронным исследованием языков, не утратили полностью свои позиции в середине XIX в., но переместились на периферию лингвистической науки (Алпатов, 1999). Как указывает В.М. Алпатов, в этот период изучение современных языков ушло из университетской науки, но не было отвергнуто полностью. Европейскими языками занимались в основном педагоги, методисты, авторы гимназических учебников, нормативных грамматик и словарей. «Экзотические» языки чаще всего изучались силами миссионеров. Продолжали появляться и «логические», «рациональные» грамматики, продолжавшие традиции «Грамматики Пор-Рояля», которые были далеки от методологии сравнительно-исторического языкознания в силу их близости к формальной логике. Позднее в работах по истории языкознания было показано, что параллельное существование не главенствующих на данном этапе парадигм в лингвистике, а также сохранение на периферии научных интересов концепций предпарадигмального периода также играют свою роль в становлении новых парадигм. Это положение было продемонстрировано в историографической работе Р. де Богранда и получило название «ancestor-hopping» (Beaugrande, 1991).

Продолжая изложение хода развития лингвистической науки на рубеже XIX и XX вв., И.П. Сусов отмечает, что «историко-генетическое языкознание исчерпало свой потенциал», «не стимулировало дальнейшего движения лингвистической мысли», «было впоследствии существенно потеснено лингвистическими направлениями преимущественно или исключительно синхронической ориентации» (Сусов, 2003, с. 154–

155). По мнению автора, в то время был необходим «принципиальный поворот» во взглядах на язык. Такой поворот, который реализовал приоритет синхронического подхода к языку, явился «результатом научного подвига», совершенного И.А. Бодуэном де Куртенэ, Н.В. Крушевским, Ф.Ф. Фортунатовым, Ф. де Соссюром, Л.В. Щербой и другими учеными того времени (Сусов, 2003).

Сравним с описанием научной парадигмы по Т. Куну. «Нормальная наука» с течением определенного времени начинает переживать кризис, и любой кризис начинается с сомнения в парадигме и последующего расшатывания правил «нормального» исследования. Завершение кризиса знаменуется научной революцией, сущность которой заключается в возникновении новых парадигм (Кун, 1997). Таким образом, метафоры, используемые И.П. Сусовым – «принципиальный поворот», «научный подвиг», – могут быть соотнесены, по сути, с «научной революцией» в теории научной парадигмы.

Как сторонники, так и противники парадигмального подхода к истории языкознания часто указывали, что в лингвистике не бывает «некумулятивных эпизодов развития науки», т.е. «научных революций». Е.С. Кубрякова пишет: «Странно было бы, например, полагать, что в лингвистике как науке гуманитарной наращивания знаний вообще не существует и что новые знания опровергают старые. [...] Но вряд ли переход от традиционного описательного исторического языкознания к структурализму можно охарактеризовать как такое плавное наращивание, уже не говоря о переходе от структурализма к генеративизму» (Кубрякова, 1995, с. 162).

В учебнике «История науки о языке» проводится мысль о том, что смена методологии лингвистики с диахронической и реконструктивной на синхроническую и с описательной на таксономическую была вызвана достижениями целого ряда естественных и гуманитарных наук с выдвиганием на передний план ориентации на структурно-системную организацию объектов и их функционирование в определенной среде (*это может быть определено как предпосылочное знание.* – Е.П.) (Сусов, 2003, с. 155). К собственно лингвистическому предпосылочному знанию следует отнести и достижения сравнительно-исторического языкознания в области систематизации генетически родственных элементов в морфологической структуре европейских языков (Березин, 1984). Принципы реконструкции языков требовали создания некоторой языковой системы, к которой возводятся сближаемые языки. «Всякой дивергенции двух и более систем должна отвечать такая система, которая

объединяла бы в себе черты дивергированных систем» (Амирова, Ольховиков, Рождественский, 2003, с. 284). Идея системности языка прозвучала и в первой книге Ф. де Соссюра «Мемуар о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках». Эта идея стала для Ф. де Соссюра основополагающей (Алпатов, 1999).

Процесс поиска новых решений, как видно из вышеизложенного, начинался в рамках сравнительно-исторической парадигмы и в то же время вел к расшатыванию правил «нормального исследования» в рамках данной парадигмы. В.М. Алпатов пишет: «С конца XIX в. все более появлялись стремления подвергнуть сомнению сами методологические основы преобладающей лингвистической парадигмы XX в. [...] Особенно сильной оппозиция компаративизму как всеобъемлющей методологии всегда была во Франции и, шире, в обладавших культурным единством франкоязычных странах» (Алпатов, 1999, с. 129–30). Теперь «буревестниками лингвистической революции» стали У.Д. Уитни и Ф. Боас в США, Г. Суит в Англии, Н.В. Крушевский и И.А. Бодуэн де Куртенэ в России.

В «соссюровской парадигме» сменился и объект исследования (Правикова, 2000). Им теперь стал язык как система. Сменились и методы, т.е. процедурная часть парадигмы. Н.А. Слюсарева отмечает, что парадигма Ф. де Соссюра оказалась своеобразным трамплином, от которого оттолкнулись многочисленные направления лингвистики конца XX в. (Слюсарева, 2000).

И.П. Сусов пишет, что на начальном этапе структурное языкознание резко полемизировало с историко-генетическим, т.е. происходил процесс замещения старой парадигмы новой (Сусов, 2003). Однако, как отмечает Т. Кун, в ходе научной революции старая парадигма замещается целиком или *частично* (курсив наш. – Е.П.) новой парадигмой, несовместимой со старой. С одной стороны, сосуществование старой и новой парадигм в лингвистике отражает принцип преемственности в данной науке. С другой стороны, С.Д. Кацнельсон в предисловии к первому тому многотомного труда «История лингвистических учений: Древний мир» указывает: «Отдельные этапы в становлении данной науки и преемственность между различными стадиями в сущности оказываются за пределами куновской теории парадигм. Допускаемая некоторыми сторонниками теории парадигм возможность сосуществования нескольких парадигм в одну историческую эпоху подрывает само понятие парадигмы» (Кацнельсон, 1980, с. 4).

Понятие парадигмы было принято отечественным и зарубежным лингвистическим сообществом с некоторыми оговорками, но все же было принято настолько, что значение этого термина прошло за последние два-три десятилетия стадии последовательного расширения. Так, в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» парадигма – это «в широком смысле любой класс лингвистических единиц, противопоставленных друг другу и в то же время **объединенных** по наличию у них общего признака или **вызывающих одинаковые ассоциации**, чаще всего совокупность единиц, связанных парадигматическими отношениями» (Кубрякова, 1990, с. 366). У Т. Куна это **совокупность научных достижений**, дающих **модель** постановки проблем и их решения. В свою очередь Д.И. Руденко отмечает, что «парадигма, определяемая в расширительном смысле, трактуется как **...доминирующий исследовательский подход** к языку, познавательная перспектива, методологическая ориентация, широкое научное течение (модель), даже научный “**климат мнения**”» (Руденко, 1990, с. 19) (выделено везде нами. – *Е.П.*). Рассматривая проблему парадигмы в лингвистической науке, Е.С. Кубрякова еще десять лет назад отметила, что «концептуальное основание у этого термина сводится не столько к понятию образца, сколько к понятию особого объединения единиц, существующего за счет наличия у каждой парадигмы определенного числа позиций (слотов) и семантической этикетки каждой позиции» (Кубрякова, 1995, с. 166).

Итак, лингвисты оперировали в отношении термина «парадигма» все большим объемом концептуальных признаков, сохраняя при этом те признаки, которые были заложены еще античными грамматистами: модели образования и их конечный набор, укладывающийся в определенного типа таблицу (матрицу) на основе единого принципа. Результатом же увеличения объема концептуального содержания концепта «парадигма» стало то, что в современной программе по истории языкознания появился термин «**современная научная парадигма**». Он явно противопоставлен как более общий по отношению к указанным ранее в этой же программе парадигмам.

Анализируя один из современных учебников по истории языкознания (Сусов, 2003), мы попытались показать, что, даже не прибегая жестко к куновской терминологии, его автор использует метафоры парадигмального подхода («кризис», «принципиальный поворот», «научный подвиг»), очерчивает границы парадигм и обосновывает причину их смены в ходе эволюции научного лингвистического знания. С чем же тогда соотнести «современную на-

учную парадигму»? Положен ли в ее основу хронологический принцип, но тогда где проходит временная граница? Генеративизм – это структуралистское или функциональное направление? Или в действительности после становления структурно-функциональной парадигмы не было ни научных революций (при условии, что мы допускаем их существование в лингвистике, а допускать это приходится, коль скоро мы оперируем термином «научная парадигма»), ни новых моделей постановки и решения лингвистических проблем в научном сообществе? То, что вошло в «современную научную парадигму», В.З. Демьянков обозначает как «доминирующие лингвистические теории в конце XX века» (Демьянков, 1995).

В указанный период (постструктурализм) о революции в лингвистике говорили дважды. За хомскианской революцией 50–60-х годов последовала когнитивная революция, которая относится к 70-м годам прошлого века. Революционность подхода 70-х годов в лингвистике состояла в том, что при исследовании речемыслительной деятельности следует учитывать взаимодействие всех типов знаний, хранящихся в когнитивной системе человека (Кубрякова, 1997, с. 71).

В предисловии редактора к учебному пособию «История языкознания» С.Ф. Гончаренко обосновывает значение данных из истории лингвистики для понимания логики исторического развития современного гуманитарного знания и подчеркивает, что «понимание и учет полученных предшествующими исследователями знаний обогащает **сегодняшнюю научную парадигму лингвистики, филологии и философии языка**» (выделено нами. – *Е.П.*) (Гончаренко, 2003, с. 4). Здесь научная парадигма – это «климат мнений» в сфере гуманитарного знания. При таком широком понимании сосуществование нескольких научных парадигм в одну историческую эпоху, недопустимое, с точки зрения С.Д. Кацнельсона, оказывается единственно возможным (Кацнельсон, 1980). Парадигма – это то, как мыслят сегодня представители гуманитарного знания, т.е. здесь мы переходим к вопросам эпистемологии современного гуманитарного знания.

Существует два термина для обозначения философской теории познания – гносеология и эпистемология. Гносеологией принято называть теорию познания, а эпистемологией – теорию научного познания (Ищенко, 2003).

Эпистемология лингвистики как одна из частных эпистемологий, по Р.М. Фрумкиной, решает проблемы объекта, методов его познания, целеустановки, методов верифицируемости результатов, систематизации и передачи их в научный социум (Фрумкина, 1995, с. 77).

Именно существование и особенно смена парадигм в лингвистике делает особо актуальной разработку общей и частных проблем эпистемологии лингвистики. В проблематику эпистемологии лингвистики входят также «стыковые области»: логическая и философская проблематика рассматривается как пограничная для предмета лингвистики. В качестве примера Р.М. Фрумкина приводит расселовскую теорию дескрипций и теорию референции в лингвистике. В качестве другого примера можно привести теорию языкового знака, разработанную Ч. Пирсом, и современную гуманитарную семиотику. Смежные области есть у лингвистики и психологии, лингвистики и культурной антропологии, лингвистики и теории ментальных репрезентаций (эта смежная область воплотилась в когнитивной лингвистике).

Отмечая роль лингвистики как интегрирующей науки, В.К. Журавлев отмечает: «Лингвистика как целостная наука о языке постепенно интегрировала историко-филологические, а затем и различные гуманитарные знания в определенную целостность, стимулируя интенсивное развитие науки о человеке и гуманизацию человеческого общества» (Журавлев, 2000, с. 85).

Однако существует точка зрения, что гуманитарное знание «по определенным эпистемологическим критериям» не дотягивает до уровня науки, либо – в силу своей специфики – образует особую, вполне самостоятельную область научного знания (Максимов, 2003, с. 133). Обосновывается это мнение с неопозитивистских позиций, отвергающих ценностно окрашенные гуманитарные тексты как недостаточно строгие.

В какой-то степени борьба за эпистемологию лингвистики была начата в связи с новым осмыслением такой науки, как история языкознания. Предложенное К. Кернером различение истории лингвистики как описательной науки о прошлом лингвистики (хронологии) и историографии лингвистики представляется важным в ракурсе преподавания истории языкознания в вузе. «Историография языкознания как качественно новое научное направление, находящееся в процессе своего становления, вырабатывает свою собственную сферу исследовательских проблем и разрабатывает новые методы подхода к анализу изучаемых объектов...» (Березин, 2000, с. 102).

К. Кернер отмечает, что историография лингвистики не должна отождествляться с историей лингвистики или историей лингвистических учений (ср. традиционные установки в: Robins, 1979; Кцгпег, 1995 а, b). Историография лингвистики как предмет выделилась в конце 60-х годов прошлого века, когда книга Т. Куна «Струк-

тура научных революций» начала оказывать влияние и на ученых, занимающихся историей лингвистики (Hymes, 1974). Именно тогда ученые стали задумываться, что есть эпистемология для историографии лингвистики (Koerner, 1995b).

К. Кернер пишет: «Существует ряд методологических и эпистемологических проблем для историографа лингвистики. Это общие вопросы периодизации, контекстуализации и исследовательской процедуры (метода)» (Koerner, 1995 b, с. 13). Только если учтены принципы интеллектуального и исторического контекста эпохи, проведена исследовательская работа с оригинальным текстом, а не его интерпретациями и изложениями, обозначены корректные методы представления исторического труда современному читателю, существует возможность избежать серьезных нарушений в представлении идей и намерений лингвистов, философов языка или грамматистов прошлого.

В заключение хотелось бы отметить, что подобные проблемы общего характера, которые волнуют современное лингвистическое сообщество, должны быть, как минимум, представлены в вузовских курсах.

Действительно ли в лингвистическом образовании переходят от установок на периодизацию и обзорность к установкам на парадигмальность и наличие межпарадигмальных связей? Что реально должно быть сделано, чтобы обеспечить такой переход – зрелость научного сообщества, по терминологии Т. Куна (*invisible college*), и его рефлексия по поводу своей науки или образовательная политика?

Несомненно, важную роль в настоящее время будет играть рефлексия научного сообщества. Как представлять парадигму в лингвистике в вузовском курсе? Границы парадигм размыты. Очевидно, это требует от студентов умения не только идентифицировать какие-либо школы и направления, но понимать, какой методологией (мировоззренческой) и какими методами руководствовалась та или иная школа (направление). Выше мы выделили некоторые принципы построения курсов истории лингвистики в современном российском лингвистическом образовании. Ни один из них нельзя назвать лишь изложением фактов. Принципы, провозглашенные в историографии лингвистики К. Кернера, не являются чем-то новым для отечественного языкознания. Но увязка эпистемологии, историографии лингвистики и парадигмального подхода, т.е. того, что познакомило бы российских студентов с «климатом мнений» современной лингвистики в отношении истории этой науки, пока представляется благоприятной перспективой. Например, можно ли обозреть парадигму в

лингвистике только тогда, когда произошла научная революция? Вопрос о научных революциях для лингвистов также остается нерешенным. Мы затрагивали выше вопрос о современной научной парадигме в государственном стандарте. Нужно ли ждать будущих времен, чтобы вычлениить контуры новых парадигм, или принципы их вычленения позволяют сделать это уже сейчас?

Стратегической же задачей может стать пересмотр вузовского курса истории языкознания с тем, чтобы новые поколения лингвистов не рассматривали историю языкознания как утомительную фактографию и хронологию, а с помощью ведущих специалистов смогли бы ощутить преемственность и революционность в развитии идей научного сообщества, смогли бы, наконец, разобраться, что же такое «парадигма» – функциональная, когнитивная, прагматическая, хомскианская или какая-либо другая.

Список литературы

- Алпатов В.М.* История лингвистических учений: Учеб. пособие. – 2-е изд. – М., 1999. – 368 с.
- Амирова Т.А., Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В.* История языкознания: Учеб. пособие для студентов вузов. – М., 2003. – 672 с.
- Березин Ф.М.* История лингвистических учений: Учебник для филол. спец. вузов. – 2-е изд. – М., 1984. – 319 с.
- Березин Ф.М.* История языкознания и историография языкознания // Язык: Теория, история, типология. – М., 2000. – С. 96–102.
- Боронникова Н.В., Левицкий Ю.А.* Лекции по истории лингвистики. – Пермь, 2002. – 224 с.
- Гончаренко С.Ф.* Предисловие редактора // Амирова Т.А., Ольховиков Б.А. Рождественский Ю.В. История языкознания: Учеб. пособие для студентов вузов. – М., 2003. – С. 4–5.
- Демьянков В.З.* Доминирующие лингвистические теории в конце XX века // Язык и наука конца XX века. – М., 1995. – С. 239–320.
- Журавлев В.К.* Истоки лингвистического мировоззрения XX века // Язык: Теория, история, типология. – М., 2000. – С. 83–96.
- Зубкова Л.Г.* Общая теория языка в развитии: Учеб. пособие. – М., 2002. – 472 с.
- Иценко Е.Н.* Современная эпистемология и гуманитарное познание. – Воронеж, 2003. – 144 с.
- Кацнельсон С.Д.* Предисловие // История лингвистических учений. Древн. мир. – Л., 1980. – С. 3–7.

- Керимов Т.Х.* Парадигма // Современный философский словарь. – М. и др., 1996. – С. 357–358.
- Колесов В. В.* История русского языкознания: Очерки и этюды. – СПб., 2003. – 472 с.
- Кроче Б.* Теория и история историографии. – М., 1998. – 192 с.
- Кубрякова Е.С.* Парадигма // Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. – С. 366.
- Кубрякова Е.С.* Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века: (Опыт парадигмального анализа) // Язык и наука конца XX века. – М., 1995. – С. 144–238.
- Кубрякова Е.С.* Когнитивная революция, когнитивный поворот // Краткий словарь когнитивных терминов / Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г. и др. – М., 1997. – С. 69–72.
- Кузнецов В.Г.* Женевская лингвистическая школа: От Соссюра к функционализму. – М., 2003. – 184 с.
- Кун Т.* Структура научных революций. – 2-е изд. – М., 1977. – 300 с.
- Лингвистика и межкультурная коммуникация: Проекты программ государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. – М., 2001. – 130 с.
- Максимов Л.В.* Когнитивизм как парадигма гуманитарно-философской мысли. – М., 2003. – 160 с.
- Правикова Л.В.* Язык как органон и как когнитивный феномен в свете лингвистических парадигм и семантических репрезентаций // Вестн. Пятигор. гос. лингв. ун-та. – Пятигорск, 2000 – № 2. – С. 92–100.
- Программы педагогических институтов. – М., 1980. – Сб. 3: Для специальности № 2101 «Русский язык и литература». – 62 с.
- Руденко Д.И.* Имя в парадигмах «философии языка». – Харьков, 1990. – 299 с.
- Слюсарева Н.А.* О лингвистическом термине language – «языковая деятельность» // Язык: Теория, история, типология. – М., 2000. – С. 103–109.
- Сусов И.П.* История науки о языке: Учеб. для студентов ст. курсов и аспирантов. – Тверь, 2003. – 315 с.
- Фрумкина Р.М.* Есть ли у современной лингвистики своя эпистемология? // Язык и наука конца XX века. – М., 1995. – С. 74–117.
- Beaugrande R.-A. de.* Linguistic theory: The discourse of fundamental works. – L.; N.Y., 1991. – 289 p.
- Hymes D.* Introduction // Studies in the history of linguistics: Traditions a. paradigms. – Bloomington, 1974. – P. 1–38.
- Kyrner E.F.K.* History of linguistics: The field // Concise history of the language sciences: From the Sumerians to the cognitivists. – Pergamon, N.Y., 1995a. – P. 3–7.
- Kyrner E.F.K.* Historiography of Linguistics. – Ibid. – 1995b. P. 7–16.
- Robins R.H.* A short history of linguistics. – L.; N.Y., 1979. – 248 p.

ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ В РАЗНЫХ ПАРАДИГМАХ ЗНАНИЯ

Е.Г. Беляевская

СЕМАНТИКА В ТРЕХ ПАРАДИГМАХ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ: (КРИТЕРИИ ВЫБОРА МЕТОДА)

Когнитивную лингвистику, сформировавшуюся в языковедческой науке на рубеже XIX–XX вв., долгое время считали одним из частных и достаточно специфических направлений лингвистических изысканий, своеобразным гибридом лингвистики и когнитивной психологии, уводящим исследователей от собственно лингвистических проблем. Однако в настоящее время все более очевидным становится тот факт, что когнитивная лингвистика – это новая парадигма лингвистического знания, т.е. новая концептуальная схема анализа, новая модель постановки и решения исследовательских задач в лингвистике.

Представляется, что основным критерием отнесения какой-либо концепции к той или иной научной парадигме является общность методологии, единство метода. Интересно отметить, что именно в отсутствии нового метода упрекают когнитивную лингвистику (далее – КЛ), когда хотят отказать ей в статусе новой научной парадигмы. Так, В.Б. Касевич считает, что КЛ не внесла никакой новой методики в современное языкознание и поэтому «правомерно полагать, что когнитивной лингвистики не существует» (Касевич, 1998, с. 20). П.Б. Паршин видит в КЛ совокупность *индивидуальных* исследовательских программ менее чем десятка широко известных авторов (Паршин, 1996, с. 30). Совершенно оче-

видно, что *индивидуальной* исследовательская программа становится в том случае, когда метод, используемый автором, доступен только ему одному и не может применяться другими исследователями, что приводит к невоспроизводимости результатов. Эти высказывания показывают, что, предположительно, именно метод исследования является определяющим фактором той или иной парадигмы лингвистического знания, поскольку, если формируется новое направление научного поиска, то в первую очередь меняются используемые им методы.

Появление нового метода отражается в постулате (постулатах) новой научной парадигмы. Таким образом, методология научного направления неразрывно связана с его аксиоматикой, и, следовательно, аксиоматика может выступать в качестве второго критерия разграничения разных научных парадигм. Иными словами, для обоснованного выделения некоторой парадигмы лингвистического знания необходимо рассмотрение и сопоставление тех постулатов, на которых базируются конкретные лингвистические исследования, выполненные в ее рамках.

К сожалению, в настоящее время этот аспект современной лингвистики можно считать практически неразработанным. Большинство исследователей сходятся во мнении, что современная западная научная традиция, к которой принадлежит и отечественная наука, аксиоматична по своей сути, что автоматически относит лингвистику к разряду аксиоматических наук. Однако если, например, в математике аксиоматика разных ее разделов является предметом рассмотрения специального раздела – теории математического вывода, – то в лингвистике проблемы аксиоматики не привлекают особого внимания исследователей. Единственная известная нам работа, специально посвященная этому вопросу, – это доклад А. Хилла на IX Лингвистическом конгрессе, озаглавленный «A postulate for linguistics in the sixties» (Hill, 1962).

Следуя направлению рассуждений А. Хилла, который говорил только о постулатах структурной лингвистики, в лингвистической науке XIX–XX вв. можно выделить три парадигмы лингвистического знания – сравнительно-историческую, структуральную и когнитивную. В одной из наших предыдущих работ (Беляевская, 2003) мы обосновали возможность выделения этих парадигм на примере отношения исследователей к *полисемии*. В настоящем исследовании мы постараемся проследить, чем различалась постановка исследовательских задач в области семантики в сравнительно-историческом языко-

знании, в структурной лингвистике и в КЛ, чем она была обусловлена и какие результаты стремились получить исследователи.

Первая парадигма лингвистического знания – сравнительно-историческая – сформировалась в начале XIX в. Основной целью лингвистического анализа являлось научно обоснованное установление родства языков, их генетической близости, а также сопоставительное изучение структурных и функциональных свойств языков для последующего проведения их типологии. Рассмотрение приемов и методов, которыми пользовались компаративисты, позволяет заключить, что сравнительно-историческое языкознание основывалось на постулате **континуальности**, имеющем в качестве своего основного следствия представление о **выводимости**. Эти постулаты формулировали кардинальное для компаративистики допущение – возможность проследить последовательные изменения отдельных явлений языка на протяжении достаточно длительного периода времени. В результате создавалась возможность составить цепочки «состояний», т.е. зафиксировать некоторое языковое явление на разных этапах исторического развития языковой системы, от древнего состояния к современному, и описать его изменение, практически ничего не зная о том, как реально это изменение происходило. Наиболее удобным материалом для реализации подобного подхода, естественно, является формальная, а не содержательная сторона языковых явлений. Неудивительно поэтому, что особенно на начальном этапе формирования сравнительно-исторической парадигмы лингвистического знания проблемы семантики мало интересовали исследователей. Первоначально сравнению подвергались единицы, имеющие одно и то же значение в разных языках, например, слова «мать», «отец» и т.д., а предметом изучения были явления фонетики, морфологии и (в значительно меньшей степени) синтаксиса.

Интерес к семантике возник значительно позже, уже в 70-х годах XIX в., когда была завершена обработка колоссального по объему языкового материала, и для дальнейшего продвижения вперед было необходимо решить вопрос о том, в каких случаях можно подвергать сопоставлению сходные по форме единицы разных языков, имеющие совершенно разные значения. Возникла проблема *систематизации принципов изменения значения и установления основных видов изменения значений слов*. Таким образом, постановка первой собственно семантической проблемы научного языкознания была обусловлена логикой развития сравнительно-исторической парадиг-

мы лингвистического знания¹. В сравнительно-историческом языкознании начало активных исследований в области семантики связывают с младограмматиками – третьим поколением компаративистов. В полном соответствии с постулатом континуальности внимание исследователей было направлено на выявление первоначальной связи между значениями, а также на определение закономерностей изменения значения.

Младограмматики выделили конкретные и абстрактные значения, провели разграничение узуальных и окказиональных значений слов и описали основные виды изменения значения – сдвиг значения, специализацию значения, обеднение первоначального содержания представления, а также различные виды переноса значения (Пауль, 1960; Мейе, 1938). Классификация изменения значения слова впоследствии была уточнена Дж. Стерном (Stern, 1931), который выделял сужение, расширение и смещение (сдвиг) значения (shift of meaning), а также улучшение и ухудшение значения с уточнением лингвистического механизма изменения (литоты, гиперболы и др.).

Рассматривая эти результаты, легко заметить, что они точно соответствуют требованиям сравнительно-исторической парадигмы лингвистического знания. В результате проведенного анализа исследователь получает цепочку разных значений одного и того же слова, зафиксированных на разных этапах исторического развития языковой системы, от древнего состояния к современному, и проводит описание характера семантических изменений, не останавливаясь в деталях на том, как реально протекают семантические процессы, лежащие в основе этих изменений. Так, например, механизм изменения значения, описанный Г. Паулем, не выходит за рамки собственно лингвистических явлений. Причины изменения исследователь видит в появлении окказиональных значений, которые сначала функционируют параллельно с узуальными, а затем начинают отделяться от них, приобретая постепенно все большую самостоятельность. Различия в узуальных и окказиональных значениях слов оцениваются в терминах «элементов» значения. В частности, Г. Пауль отмечает, что «... окказиональное значение содержит в себе не только все элементы узуального, но даже и нечто большее. Встречаются также и такие отклонения, когда окказио-

¹ Здесь мы в целях упрощения описания оставляем в стороне «индивидуальные исследовательские программы» В. фон Гумбольдта и А.А. Потебни, которые во многом предвосхитили идеи и подходы когнитивной лингвистики конца XX – начала XXI в.

нальное значение включает в себе не все элементы узуального значения. Возможность такого частичного использования узуального значения слова объясняется тем, что в подавляющем большинстве случаев узуальное значение состоит из множества элементов, которые могут отделяться один от другого» (Пауль, 1960, с. 101). В свою очередь, «элементы значения» соотносятся со «свойствами» обозначаемого: «...представление о субстанции непременно содержит в себе представления о многих свойствах. Но и многие представления о свойствах и действиях, которые можно обозначить одним словом, являются составными» (там же).

Это объяснение можно было бы считать вполне приемлемым, если бы семантические изменения были бы в большей степени подобны фонетическим изменениям, которые охватывают *все* звуки одного качества. Но семантические изменения *хаотичны* в том смысле, что невозможно предсказать, какое семантическое изменение произойдет в том или ином слове. Поэтому объяснение причин и механизма изменения значения, состоящее в том, что в каких-то случаях в значении слова могут появиться или исчезнуть некоторые элементы, по сути, объяснением не является. Почему, например, в одних случаях это происходит, а в других – нет? Почему в разных языках у сопоставительных слов изменения значения идут по разным направлениям? Кроме того, деление семантических процессов изменения значения на расширение, сужение, улучшение, ухудшение, сдвиг значения, метафорический и метонимический перенос было весьма условным. Во многих случаях семантический результат можно было, например, рассматривать одновременно и как расширение, и как метафорический перенос. Иными словами, границы разных семантических процессов оказались в значительной степени размытыми.

Эти и многие другие вопросы остаются без ответа, однако фактически они возникают и ставятся только сейчас, на современном этапе развития лингвистической науки. В конце XIX – начале XX в. эти проблемы были менее актуальными, поскольку основной задачей исследователя являлась фиксация и описание явления, а не его объяснение. Аналогичным образом, при рассмотрении фонетических изменений без объяснения оставались причины того, что все люди, проживающие на определенной территории в определенный исторический период, начинали произносить некий звук иначе, чем раньше, заменяя его одним и тем же новым звуком. И абсолютно аналогичным образом, конкретный механизм фонетического из-

менения усматривался в постепенном частичном изменении отдельных артикуляторных составляющих звука (Брукнер, 1955).

Упомянутое нами выше разложение значения слова на составляющие, более или менее соответствующие свойствам (признакам) обозначаемого, о котором говорил Г. Пауль, навеяно, по нашему мнению, влиянием *второй парадигмы лингвистического знания* – **структуральной**, которая в начале XX в. пришла на смену парадигме сравнительно-исторической.

Причины перехода к новой парадигме лингвистического знания были, на наш взгляд, вполне объективными.

К концу XIX в. в сравнительно-историческом языкознании был накоплен богатейший материал, однако возможности известных науке письменных памятников, которые и давали компаративистике новое знание, были практически исчерпаны. Для дальнейшего развития лингвистической науки необходимы были новые подходы и новые **методы**, т.е. смена научной парадигмы.

Приход новой научной парадигмы не связан, как многие считают, с полным отказом от достижений науки предыдущего периода и с отрицанием значимости полученных ранее результатов. Напротив, именно проблемы более ранней научной парадигмы, не получившие в ней своего удовлетворительного решения, становятся объектом самого пристального внимания в новой парадигме научного знания. Показать это можно на примере компаративистики XX в., которая получила мощнейший толчок к дальнейшему развитию благодаря появлению *метода внутренней реконструкции* – метода, как это очевидно, структурной лингвистики.

Аксиоматика структуральной парадигмы лингвистического знания была самым тесным образом связана с ее методом. А. Хилл (Hill, 1962) выделял один постулат структурной лингвистики – постулат «манипулятивности» (manipulability). Эта аксиоматика, по его мнению, обосновывала возможность проведения анализа языковых сущностей посредством последовательного выделения отдельных элементов из ткани языка и проведения над ними различных «операций». Отсюда выводится одно из следствий основного постулата структуральной парадигмы – понятие «операциональности» лингвистического анализа. Операциональность предполагает возможность вычленения отдельного элемента из речевой цепи, сравнения выделенных элементов и определения их изменения в зависимости от позиции по отношению к другим элементам высказывания. Кроме того, операциональность позволяет проводить изолированное изуче-

ние отдельных элементов (единиц языковой системы) и сводить их в классы. Неслучайно поэтому появление «анатомической» метафоры в лингвистических исследованиях структурального направления, когда рассмотрение языкового материала описывалось как разделение, вычленение (ср. *the body of the text*, *to dissect the text*, *to single out*, *to delimit* и т.д.). Отметим, что в компаративистике проблема членимости не представлялась столь важной, поскольку исследователи работали с письменными текстами, где выделение операциональных единиц автоматически задавалось графикой. Структуралисты же стремились начать анализ, отталкиваясь от языковой данности в ее непосредственном «живом» функционировании, выбирая в качестве отправной точки звучащую речь или текст. При этом в ряде случаев текст брался вместе с его социальным и индивидуально-психологическим фоном, т.е. во всем многообразии его связей с процессом коммуникации, в ходе которого текст возникает.

Целью лингвистического анализа в рамках структуральной парадигмы лингвистического знания являлось разделение языка на подсистемы, содержащие более или менее однородные по своим функциональным свойствам элементы (языковые уровни), описание единиц каждого уровня и правил перехода от одного языкового уровня к другому. Предполагалось, что подобное изучение внутреннего устройства языковой системы создает предпосылки для последующего моделирования того, как постигает язык человек и как он пользуется языком в процессе коммуникации. В самых общих чертах основа этого моделирования была задана ходом анализа – следовало постепенно переходить от более простых языковых структур к более сложным: от отдельных звуков к морфемам, от морфем – к словам, далее к предложениям, высказываниям и текстам.

Пользуясь метафорой, задачи и цели лингвистического анализа в рамках структуральной лингвистической парадигмы можно представить как попытку людей изучить необыкновенный летательный аппарат, спустившийся к ним с небес, разобрав его на составные части. При этом люди исходят из того, что, изучив отдельные элементы конструкции, они поймут, как устройство летает, и смогут научиться делать подобные летающие устройства.

Однако, как оказалось, «обратный ход» – воссоздание из выделенных элементов исходной сущности, т.е. языка в непосредственных условиях коммуникации, – удастся с большим трудом и далеко не всегда. В этой связи можно напомнить о неудаче первых попыток синтеза устной речи, а также о фактическом провале пер-

вых программ, моделирующих языковую способность носителей языка на базе генеративных грамматик.

Это может показаться странным совпадением, но отношение к семантике, к содержательной стороне языковых явлений в структуральной научной парадигме прошло тот же путь, что и в сравнительно-историческом языкознании. На первом этапе становления и развития структурной лингвистики исследователи работали в основном с фонетическим и морфологическим материалом, выбирая для анализа единицы, имеющие одно и то же значение. Провозглашался даже принцип исключения семантики из лингвистического анализа, поскольку эта категория является весьма неопределенной и трудно формализуемой.

Неудачи, подобные тем, о которых мы упоминали выше, показали, что семантика языковых единиц составляет особый уровень языковой системы, который, наряду с другими языковыми уровнями, должен являться предметом специального изучения. Поэтому на более поздних этапах развития структурной лингвистики смысловая сторона языковых явлений перешла в разряд наиболее актуальных направлений исследования.

Общая концептуальная схема анализа, а также модель постановки и решения исследовательских задач, принятая в структуральной парадигме лингвистического знания, обусловила направление разработки структурных методов изучения значения. Как и в случае сравнительно-исторической парадигмы, исследователи оперировали в качестве исходного материала отдельным значением слова и опирались на постулат манипулятивности (операциональности), стремясь выделить отдельные семантические составляющие – компоненты значения. Компонентный анализ предполагал выделение сем – элементарных смыслов, которые, комбинируясь между собой, формируют значения слов, предложений и высказываний. Процесс разделения значения слова на такие своеобразные смысловые «кванты» должен был соответствовать принятому в структуральной парадигме требованию точности и максимальной «автоматичности» анализа, поэтому он сопровождался большим количеством операциональных ограничений. Например, при выделении компонентов значения по дефиниции предполагалось использование только одного словарного источника, поскольку каждый лексикограф вносит свое индивидуальное видение материала в трактовку семантики языковой единицы, и совмещение разных дефиниций могло повлиять на объективность выделения сем. Пред-

писывались достаточно жесткие правила развертывания дефиниций, а перед применением компонентного анализа требовалось разграничить разные значения многозначного слова и «отделить», по возможности, значение от употребления (Гулыга, Шендельс, 1980). Однако несмотря на подобные жесткие процедурные предписания, содержательная сторона языковых единиц, которая всегда считалась явлением расплывчатым и сложным, с трудом поддавалась формализации. Деление на семы не было однозначным, допускалась множественность интерпретаций. Кроме того, при выделении семантических компонентов в значении языковой единицы всегда оставался некий неформализуемый остаток, в результате чего синтез целостного значения из составляющих его (предварительно выделенных) компонентов оказался невозможным.

Проблема семантических процессов изменения значения рассматривалась и в структуральной лингвистической парадигме, что еще раз подтверждает тот факт, что исследовательские задачи (особенно нерешенные) при переходе от одной парадигмы к другой сохраняются, меняются лишь подходы к их решению.

Проблемы изменения значения не принадлежали к центральным проблемам структурной лингвистики, хотя нельзя сказать, что исследователи полностью обходили их своим вниманием. Возможно, одной из причин подобного положения дел было то, что структурные методы не очень хорошо подходили для изучения семантических процессов. Действительно, достаточно трудно описать, например, расширение или сужение значения в терминах изменения состава сем соответствующего обозначения. Возьмем для примера некоторые наиболее часто цитируемые случаи реализации этих семантических процессов. Описывая процесс сужения значения, Ст. Ульман отмечает, что английское существительное *voyage*, заимствованное из французского, первоначально обозначало любое путешествие (*a journey*), но впоследствии стало обозначать морское путешествие на корабле или лодке, в основном морское путешествие (*journey by sea or water*) (Ullman, 1977, с. 227–235). Рассматривая компонентный состав исходного значения и результирующего, более узкого, значения, легко показать, что они практически одинаковы по своему семному составу. Различие между этими двумя значениями заключается не столько в составе сем, сколько в их иерархии: семантический компонент, указывающий на «способ путешествия», присутствует в обоих значениях, но в том значении, которое считается более узким, он конкретизируется и выходит на первый план. В более широком

наименовании подобная конкретизация в большинстве случаев осуществляется в контексте.

Рассмотрим еще один пример. Ст. Ульман указывает, что одной из наиболее частотных моделей расширения значения является использование наименования молодого животного или растения для обозначения всего соответствующего вида (там же, с. 231). В частности, англ. *bird* – *птица* происходит от др. англ. *brid* – *птенец*, а англ. *plant* – *растение* – от лат. *Planta* – *побег* (растения). Как и в рассмотренном нами выше случае, указание на возраст растения или животного присутствует в семантике как первого, так и второго наименования, однако в более узком значении оно акцентируется и конкретизируется, переходя в сему «недавно родившийся», а в более широком значении отходит на второй план, позволяя использовать наименование для обозначения особи любого возраста.

Если процесс сужения и расширения значения все-таки можно (с некоторой натяжкой) интерпретировать в терминах появления или исчезновения некоторой семы или некоторых сем, то процесс переноса значения (метафору и метонимию) практически невозможно описать в терминах «механического» перемещения сем. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что прямое и переносное значение часто имеет одну и ту же дефиницию, например, *gush* – sudden or copious stream (lit. or fig. of speech, tenderness, etc.); *amalgam* – mixture of a metal with mercury (gold amalgam); plastic mixture of any substances (lit. or fig.); *to step* – go short distance or progress in some direction (as) by stepping or steps (lit. or fig.).

Таким образом, при анализе изменения значения в большинстве случаев не представляется возможным говорить о механическом «убавлении» или «прибавлении» сем. И если возникает необходимость интерпретировать эти семантические процессы, опираясь на результаты компонентного анализа, то скорее их следует описывать в терминах перестройки или переаранжировки сем.

Подобные модификации семного состава в структурной лингвистике практически не рассматривались. При компонентном анализе все семы (компоненты значения) считались равноположенными, а иерархия в семном составе единицы описывалась только как противопоставление категориальных и дифференциальных сем, т.е. сем, указывающих на частеречную принадлежность и семантический класс, к которому принадлежит единица, и сем, описывающих частные особенности лексического значения этой единицы.

Еще одна причина, по которой проблемы изучения семантических процессов не считались достаточно актуальными в структурной лингвистике, заключалась в их динамичном и, в большинстве случаев, диахронном характере. Провозглашенный Ф. де Соссюром принцип разделения синхронии и диахронии, а также принцип системности синхронии и асистемности диахронии значительно ослабил интерес исследователей к «асистемным» динамическим процессам, каковыми являются семантические процессы изменения значения.

Учитывая описанные выше причины, структурная лингвистика особое внимание уделяла классификации семантических изменений.

Были выделены новые типы семантических изменений, в частности десемантизация, были разработаны и уточнены принципы их классификации. Рассмотрим одну из последних таксономий – систему, разработанную Э. МакМагон (McMahon, 1994, с. 178–184), которая предлагает классифицировать семантические изменения по следующим принципам:

- 1) по изменению объема значения:
 - расширение значения;
 - сужение значения;
- 2) по изменению отношения говорящего и слушающего к предмету сообщения:
 - улучшение значения;
 - ухудшение значения;
- 3) в соответствии с механизмом, на котором основывается изменение:
 - изменение по сходству (метафора) или
 - изменение по смежности (метонимия);
- 4) в соответствии с причинами, обусловившими изменение:
 - изменение вследствие внешних причин (включая причины исторические, социальные, культурологические, технологические и т.д.);
 - изменение вследствие внутренних причин (лингвистических);
 - изменение вследствие психологических причин (преувеличение или эмпфаза, экспрессивность, эвфемия и табу).

Приведенная классификация во многом повторяет ранние классификации семантических изменений. В нее не включены такие семантические изменения, как *генерализация* и *специализация* значения (по традиции они объединяются с *расширением* и *сужением* значения), а также десемантизация. Имеются и другие классификации семантических изменений, однако, как отмечает Габор Джиори (Györi,

2002), в них фигурируют те же самые виды семантических процессов, меняется только группа, к которой тот или иной процесс относится. Например, Г. Хок (Hock, 1986) и Р. Антилла (Antilla, 1992, с. 132) относят метафору и другие образные средства к причинам, обуславливающим семантические изменения, а *расширение*, *сужение*, *улучшение* и *ухудшение* значения – к результатам семантических изменений.

Подводя предварительные итоги, можно констатировать, что и в сравнительно-исторической парадигме, и в структуральной парадигме лингвистического знания подход к языковому материалу был по преимуществу **описательным**, а не **объяснительным**. Неслучайно одно из наиболее мощных направлений структурализма носило название американского дескриптивизма (от лат. Descriptivus – описательный). Это легко видеть на примере изучения семантических изменений: принципы выделения семантических изменений, а также основные типы семантических изменений были так хорошо описаны в сравнительно-исторической лингвистической парадигме, что введение новых методов, методов структурального подхода к анализу языковых явлений, прибавило мало нового к их систематике и к их пониманию.

Отметим важное для дальнейшего изложения свойство описательного подхода к языку (возможно, его основной недостаток). При описании исследователь должен «разложить» объект описания на части для того, чтобы представить его специфику и все многообразие свойств максимально полным образом. Если явление не поддается «разложению» на части, как, например, в случае семантических процессов или вообще динамических объектов, то возникает множественность классификаций, сведение в одну группу разных по сути явлений и другие погрешности.

Выше мы говорили о том, что первым признаком появления новой научной парадигмы является наличие объективных условий ее формирования, а именно накопившегося багажа проблем, не поддающихся решению прежними методами. Так, в рамках структуральной лингвистической парадигмы нерешенным остался целый ряд проблем. К ним можно отнести проблему неаддитивности смыслов (т.е. тот факт, что смысл, передаваемый сообщением, больше суммы смыслов, передаваемых составляющими его словами), проблему выявления оснований выбора лексических и фразеологических единиц в процессе коммуникации, проблему выявления причин того или иного прагматического воздействия сообщения на получателя информации и др. Весьма существенно, что все пере-

численные проблемы связаны не с анализом и описанием, а с синтезом и объяснением языковых явлений.

Становление когнитивно-дискурсивной парадигмы лингвистического знания, появление которой было во многом обусловлено попыткой решить эти, а также другие нерешенные проблемы структуральной научной парадигмы, в отличие от двух первых парадигм началось именно с рассмотрения проблем семантики. Причем основной целью лингвистического анализа стало объяснение того, как формируются и функционируют языковые (семантические) сущности. Как отмечает Е.С. Кубрякова, «лингвистика, в задачу которой неизменно входило и входит требование **описания** ее объектов, становясь зрелой в куновском смысле наукой, должна все более приобретать **объяснительный** характер. Когнитивная наука предоставляет ей эти возможности, т.е. расширяет рамки возможных в лингвистике и так необходимых для нее объяснений» (Кубрякова, 1999, с. 5–6).

Поскольку когнитивно-дискурсивная лингвистическая парадигма в настоящее время еще только складывается, трудно с достаточными основаниями говорить о ее аксиоматике. В самом предварительном плане можно говорить, что КЛ основывается на постулате интегративности, что предполагает изучение некоторого лингвистического объекта не в препарированном виде, а «в действии», т.е. с точки зрения того, какие процессы приводят к его формированию и каким образом он выбирается и используется носителем языка в процессе коммуникации. Соответственно, в центре внимания лингвистов оказывается языковая способность человека, а не только отдельные единицы или уровни языковой системы.

Интересно посмотреть, каким образом эти исходные посылки меняют подход к такому явлению, как семантические процессы изменения значения. Именно эту задачу ставит перед собой Г. Джиори, анализируя исторические процессы изменения значения в контексте идей и методов КЛ (Györi, 2002). Исследователь выделяет две причины неудачных попыток структурной лингвистики обеспечить приемлемое описание того, каким образом происходит изменение значения. Во-первых, это само понимание значения, модель которого традиционно строилась как логическая схема, опирающаяся на представление о референции и об условиях истинности. Получившаяся в результате такого подхода концепция была излишне жесткой и схематичной; она, в частности, существенно ограничивала представление о вариативности и изменчивости значения, игнорируя, таким образом, важнейшее свойство семантики языковых явлений. Во-вторых, процессы измене-

ния значения в ходе исторического развития языка было невозможно понять и объяснить без обращения к понятию метафоры и других средств образного восприятия явлений действительности, а в структурализме эти явления по возможности исключались из лингвистического анализа из-за их «нечеткости» и «неопределенности».

Г. Джиори считает, что изменение значения следует рассматривать как когнитивный процесс, причем «когниция» определяется им как функция мозга, обеспечивающая способность человека собирать, обрабатывать и хранить информацию об окружающем его мире. В целом, по мнению Г. Джиори, изменение значения можно представить как процесс «структурной перестройки» системы знаний о мире, своеобразное изменение оснований категоризации явлений предметного мира, сложившейся в некотором языковом и культурном сообществе. Если принять эту точку зрения и определить процесс изменения значения как «перестройку» категорий на концептуальном уровне, то к нему можно применить по крайней мере некоторые принципы анализа категорий, разработанные Э. Рош (Rosh, 1973). Г. Джиори выделяет четыре когнитивных фактора, обеспечивающих формирование новых значений: 1) степень прототипичности признака, или предсказательная сила признака (cue-validity); 2) принцип когнитивной экономии (cognitive economy); 3) знание концептуальной картины мира (perceived world structure); 4) конъюнктивность (conjunctivity).

Степень прототипичности признака является, по мнению Г. Джиори, наиболее важным фактором. Вслед за Э. Рош он определяет степень прототипичности признака как вероятностный концепт: степень прототипичности признака x , т.е. его способность служить указанием на категорию y , увеличивается, если увеличивается частотность совместного появления признака x и категории y , и, напротив, уменьшается, если уменьшается частотность их совместного появления. Новое значение, возникающее в результате того или иного семантического процесса, должно основываться на одном из признаков, обладающих высокой прогностической силой, что необходимо для обеспечения процесса коммуникации, в противном случае новая номинация будет непонятна другим. Так, hawk (*ястреб*) – это «тот, кто хватает», hat (шапка) – то, что «покрывает, укрывает» (Györi, 2002, с. 144).

Степень прототипичности признака, выступающего в качестве основания категоризации, является не единственным фактором, который следует принимать во внимание. *Принцип когнитивной экономии* реализуется одновременно с первым фактором и касается вы-

бора признака (из множества возможных), наиболее близкого исходной категории, что обеспечивает преемственность между исходной категорией и новой категорией, которая формируется в результате семантического процесса. В свою очередь, и первый, и второй факторы зависят от *знания о мире*, точнее, от *знания его концептуальной организации, видимой сквозь призму языка*, в рамках которого проводится исследование. Как отмечает Г. Джиори, «поскольку говорящий и слушающий основываются на одной и той же концептуальной структуре, знание концептуальной картины мира оказывает определяющее влияние на то, какие признаки и свойства некоторого явления будут выделены в качестве наиболее важных: это, естественно, будут те признаки, которые недвусмысленно указывают на данную категорию» (там же, с. 145).

Последний, четвертый, фактор Г. Джиори заимствует у С. Брауна (Brown, 1979). Конъюнкция признаков определяется как установление отношения непосредственной выводимости одного признака из другого по модели подобия или смежности («*x* является частью *y*» или «*x* подобен *y*»).

Все четыре когнитивных фактора, лежащих в основе изменения значения слова, *действуют одновременно*, составляя часть единого процесса. Обратим внимание на этот аспект концепции Г. Джиори, поскольку он является хорошей иллюстрацией принципа интегративности, провозглашаемого КЛ. Любой лингвистический объект – процесс, явление, категория и т.д., рассматривается в КЛ интегративно, во всем множестве своих свойств и характеристик. Если подойти к процессу исторического изменения значения как к результату одновременного действия сразу нескольких когнитивных факторов, то становится понятным, почему так трудно найти «чистые» случаи сдвига и переноса значения (равно как и их частных случаев). Нельзя четко разграничить сдвиг значения и перенос, перенос по сходству и по смежности, так как с когнитивной точки зрения это всегда и то, и другое; речь может идти только о *преобладании* какого-либо аспекта в изменении значения. Таким образом, принцип интегративности позволяет сразу решить проблему нечеткости классификаций исторических изменений значения. Однозначные и полностью непротиворечивые классификации семантических изменений не могут существовать по крайней мере потому, что объекты, подвергаемые классификации, не изолированы друг от друга, но находятся в отношениях пересечения.

Принцип интегративности реализуется в концепции Г. Джиори и дальше, когда исследователь говорит о том, что рассмотренные им когнитивные факторы составляют лишь часть общей модели изменения значения, и для полноты картины необходимо рассмотреть также собственно языковые, а также социокультурные аспекты, действующие параллельно с факторами когнитивными. К собственно языковым аспектам, по его мнению, относятся проблемы «вхождения» новой номинации в систему языка: новые значения влияют на общую структуру лексикона, в частности, на структуру соответствующих семантических полей. При описании процессов изменения значения необходимо учитывать подобную модификацию структур лексикона, поскольку они дают возможность лучше представить себе характер и направление изменения значения. И, наконец, причины возникновения номинативной потребности, которая служит толчком к «запуску» когнитивных механизмов изменения значения, обусловлены социокультурными факторами. При этом социокультурный фон тесно связан с языковой составляющей семантических изменений – именно он во многом определяет концептуальную структуру лексикона.

Несомненно, формирование общей интегральной картины того, как происходят семантические процессы, направлено *не столько на его описание, сколько на его понимание и объяснение.*

Сразу возникает и другой вопрос, который обычно относят к совершенно иному разделу теории семантики, а именно вопрос о том, как возникают новые значения многозначного слова и насколько их появление обусловлено свойствами самого полисеманта. В работе Г. Джиори полисемия выступает в качестве связующего звена между когнитивными и собственно языковыми аспектами изменения значения. Это также, на наш взгляд, является следствием когнитивного подхода к анализу языковых явлений и реализацией принципа интегративности. Действительно, стоит ли «отрывать» результат семантической динамики, известный нам как «основные типы исторического изменения значения слова», от многообразных процессов, протекающих в семантической структуре слова и обусловливающих развитие или сокращение полисемии?

Представленное выше краткое описание концепции Г. Джиори не означает, что предложенное им видение семантических изменений можно считать окончательным решением проблемы. Примеры, которые приводит Г. Джиори, не всегда убедительны и в большинстве своем заимствованы из работ других исследователей. Автор сам отмечает, что он стремился рассмотреть проблему изменения значения в теоре-

тическом, а не в практическом аспекте, поэтому многие из высказываемых им положений нуждаются в проверке на обширном языковом материале с привлечением данных разных языков. Однако исследование Г. Джиори убедительно, на наш взгляд, демонстрирует новизну метода и реализацию нового подхода к анализу самой «старой» проблемы семантики, которая была сформулирована еще во второй половине XIX в. и по-прежнему вызывает много споров и разногласий.

В настоящее время сложно говорить о каких-либо сложившихся методах и приемах анализа языкового материала, которые давали бы воспроизводимые результаты. Это неудивительно, если вспомнить, что методы структурной лингвистики оттачивались и уточнялись десятилетиями; в частности, появлялись все новые и новые версии компонентного анализа. Однако во всем многообразии конкретных приемов и методик, которые в настоящее время, действительно, достаточно индивидуальны, можно выделить одну центральную идею, обуславливающую постановку исследовательских задач, а также поиск частного метода, в наибольшей степени отвечающего задачам и целям исследования. Эта ведущая идея – **обращение к моделированию языковой способности человека**, что предполагает выдвижение гипотез и подтверждение (или опровержение) их на конкретном языковом материале. Весь ход лингвистических исследований XIX–XX вв. показал, что невозможно проанализировать и описать какое-либо языковое явление без понимания того, как говорящий пользуется им в процессе коммуникации и **почему** говорящий применяет (или реализует) некоторую языковую сущность именно так, а не иначе.

Выбор метода анализа, в свою очередь, основывается на центральном постулате парадигмы, в случае КЛ – это **постулат интегративности**. Интересно отметить, что основной постулат когнитивно-дискурсивной парадигмы отражается даже в названиях некоторых теорий и методов КЛ, например метода концептуальной интеграции (о методе концептуальной интеграции см. Ирисханова, 2001; Селезнева, 2002).

В заключение подчеркнем еще раз, что КЛ предполагает реализацию новых подходов и методов, но не предполагает отрицания тех результатов, которые ранее были достигнуты в рамках других парадигм лингвистического знания. Напротив, КЛ «вбирает» в себя уже имеющееся знание, без чего сама постановка ее задач оказывается невозможной. Задача когнитивно-дискурсивной парадигмы – объяснить необъясненное, восполнить недостающее, но никак не зачеркнуть достижения лингвистики предыдущего периода.

Список литературы

- Беляевская Е.Г. Три парадигмы семантических исследований (чем отличается когнитивный подход к лексической семантике от традиционных) // На стыке парадигм лингвистического знания в начале XXI века: Грамматика, семантика, словообразование. – Калининград, 2003. – С. 60–72.
- Бруннер К. История английского языка: В 2 т. – М., 1955. – Т. 1. – 323 с.; Т. 2. – 392 с.
- Гулыга Е.В., Шендельс Е.И. О компонентном анализе значимых единиц языка // Принципы и методы семантических исследований. – М., 1980. – С. 291–314.
- Ирисханова О.К. О теории концептуальной интеграции // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. – М., 2001. – Т. 60, № 3. – С. 44–49.
- Касевич В.Б. О когнитивной лингвистике // Общее языкознание и теория грамматики. – М., 1998. – С. 14–21.
- Кубрякова Е.С. Семантика в когнитивной лингвистике (О концепте контейнера и формах его объективации в языке) // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. – М., 1999. – Т. 58, № 5. – С. 3–12.
- Мейе А. Введение в сравнительное изучение европейских языков. – М.; Л., 1938. – 510 с.
- Паришин П.Б. Теоретические перевороты и методологический мятёж в лингвистике XX века // Вопр. языкознания. – М., 1996. – № 2. – С. 19–42.
- Пауль Г. Принципы истории языка. – М., 1960. – 500 с.
- Селезнева С.Ю. Концептуальная интеграция: Направления в исследовании (обзор) // Социальные и гуманитарные науки: РЖ. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 6. Языкознание. – М., 2002. – С. 139–156.
- Antilla R. Field theory of meaning and semantic change // Diachrony within synchrony: language history and cognition. – Frankfurt-a.-M., 1992. – P. 23–83.
- Brown C.H. A theory of lexical change: with examples from folk biology, human anatomical partonomy and other domains // Anthropol. linguistics. – Bloomington, 1979. – N 21. – P. 257–276.
- Gyori G. Semantic change and cognition // Cognitive linguistics. – Berlin; N.Y., 2002. – Vol. 13, N 2. – P. 123–116.
- Hill A. A postulate for linguistics in the sixties // Language. – Baltimore, 1962. – Vol. 18, N 2. – P. 345–351.
- Hock H. Principals of historical linguistics. – Berlin; N.Y., 1986. – 351 p.
- McMahon April M.S. Understanding language change. – Cambridge, 1994. – 232 p.
- Stern G. Meaning and change of meaning. – Göteborg, 1931. – 496 p.
- Rosh E. Natural categories // Cognitive psychology. – N.Y., 1973. – P. 328–350.
- Ullman St. Semantics. An introduction to the science of meaning. – Oxford, 1977. – 278 p.

О.К. Ирисханова

ОТГЛАГОЛЬНАЯ НОМИНАЛИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ПАРАДИГМАХ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Отглагольная номинализация как процесс и результат преобразования глагольных конструкций в именные уже довольно долгое время остается в поле зрения различных школ и направлений. Межкатегориальный и межуровневый статус отглагольных субстантивов, существующих на стыке глагола и имени существительного, с одной стороны, и на пересечении нескольких подсистем языка (морфологической, лексической, синтаксической и пр.) – с другой, приводит к тому, что в большинстве работ номинализация неизменно попадает в контекст более широких лингвистических проблем. В том, как интерпретируется данное явление, какими видятся отношения между отглагольным именем и мотивирующим глаголом, какие свойства (структурные, семантические или функциональные) находятся в фокусе внимания, проявляются общие взгляды того или иного исследователя на природу языка, истоки и характер языковой способности, его приверженность формальным или семантическим способам лингвистического описания. Соответственно, прослеживая путь номинализации в научных трудах последних двух десятилетий, мы можем в определенной степени представить векторы развития многих современных лингвистических направлений.

Нужно отметить, что основы современных теорий номинализации, неоттрансформационалистских, неолексикалистских, событийных, когнитивных и др., закладываются еще в 60–80-е годы XX в. Именно в этот период времени обозначаются основные акценты в изучении номинализации, а само явление получает интер-

претацию в таких терминах, как синтаксические трансформации, транспозиция, лексические правила, аргументные структуры, свернутые пропозиции и т. д. Зарубежные теории номинализации, находясь под влиянием генеративной грамматики Н. Хомского (Lees, 1960; Fraser, 1970; Chomsky, 1970), представляют отглагольный субстантив как трансформирование глубинной глагольной синтагмы в именную и сосредоточиваются, главным образом, на регулярных процессах наследования отглагольным именем структурных свойств глагольной фразы. Для отечественной теории номинализации характерны изначальное внимание к традиционным вопросам словообразования, неприятие чисто синтаксической интерпретации номинализации, а также устойчивый интерес к семантике отглагольных имен как особой единицы номинации (Падучева, 1974; Арутюнова, 1976; Кубрякова, 1986)¹.

Подобная двухполусность в оценке номинализации проявляется и на современном этапе – с конца 80-х годов по настоящее время. С одной стороны, наблюдается дальнейшее развитие синтаксических теорий, возникших в предыдущие десятилетия (неотрансформационализм, неолексикализм или аргументно-функтивный подход, синтаксическая типология); с другой – ставятся принципиально новые проблемы и возникают теории, рассматривающие номинализацию с точки зрения процессов референции и концептуализации (событийная и когнитивная теории).

Неотрансформационалистские теории

В основу неотрансформационализма положены идеи Н. Хомского (Chomsky, 1970, 1973, 1980) и Р. Джэкендоффа (Jackendoff, 1977) о ступенчатом характере преобразования глубинных структур в поверхностные (X-bar theory). К наиболее известным неотрансформационалистским теориям относится теория параллельной морфологии (Parallel Morphology) Х. Борера, К. Пикалло, Дж. Фу и др. (Borer, 1991, 1993; Picallo, 1991; Fu, 1994). Традиционному для генеративной грамматики пониманию автономности морфологических и синтаксических процессов, находящихся пересечение в интерфейсах, исследователи противопоставляют понятие параллельности (непересекаемости) данных грамматических модулей. Применительно к номинализации это означает наличие двух независимых процессов словообразования: лексической

¹ См. подробно в (Ирисханова, 2004).

деривации, при которой слово образуется в лексиконе до включения его в глубинную структуру, и синтаксической деривации, когда отглагольное существительное образуется уже после завершения глубинных синтаксических операций, на уровне поверхностной структуры. В первом случае номинализация, уже в готовом виде «взятая» из лексикона, реализуется в поверхностной структуре как обычная именная группа (*an examination – an exam*). Более позднее вставление слова во втором случае приводит к проецированию в поверхностную структуру глагольной группы (*The examination of the patients by John*) (Borer, 1993).

Теория параллельной морфологии сталкивается с определенными трудностями, что отмечается даже ее сторонниками (ср., например: Fu, 1994). Если в основе синтаксических номинализаций находится глагольная группа, как можно объяснить модификации некоторых глагольных свойств в номинализованных конструкциях (изменение падежей и отсутствие наречий)? Чем номинализованная глагольная группа отличается от других глагольных групп? И, наконец, почему вершиной именной конструкции является глагольная группа?

Попыткой сгладить подобные противоречия явилось введение новой функциональной категории детерминатива (D), который, доминируя над глагольной группой, придает ей именной статус. Вразрез с общепринятым трансформационалистским пониманием именной группы как максимальной проекции имени существительного было предложено, что именная группа является максимальной проекцией детерминатива D, соответствующего базовой роли артикля или указательного местоимения. Функция детерминатива состоит в том, чтобы придать языковому выражению способность реферировать к объектам и, следовательно, выступать в роли аргумента с Θ -ролями (Szabolcsi, 1987; Abney, 1987; Longobardi, 1994). Синтаксическая номинализация возникает не как результат синтаксической трансформации глагола в существительное, а как детерминативная группа, в которой D доминирует над глагольной группой в силу того, что последняя не должна содержать указания на время (Siloni, 1997). Представляется, однако, что введение понятия детерминатива не объясняет появление в номинализованных именах и группах многих новых семантических и структурных свойств, не наблюдавшихся ранее у исходной глагольной группы. Тем самым, подобно Н. Хомскому et al., неотрансформационалисты по многим позициям фактически отождествляют глагол и его номинализацию.

Неолексикалистские теории (аргументно-функциональный подход)

Аргументно-функциональный подход зародился еще в начале 80-х годов, когда в рамках лексикалистской теории возникает направление, получившее название теории лексических репрезентаций или лексико-функциональной грамматики (*lexical-functional grammar*) (Bresnan, 1982; Bresnan, Kaplan, 1982; Grimshaw, 1990). Согласно данной концепции, каждое слово ассоциируется с лексической формой, которая включает в себя предикатно-аргументную структуру (деятель, тема, цель) и грамматические функции аргументов (функции субъекта, прямого или косвенного объекта и т. д.). Последние выступают в роли связующего звена между синтаксической и аргументной структурой. В этом случае процессы номинализации исследуются с точки зрения наследования отглагольным именем лексической формы глагола.

Дальнейшим развитием аргументно-функционального подхода стали работы М. Бирвиша, который также исходит из того, что синтаксические свойства производных номинализации, относимых им к лексическим процессам, обусловлены их аргументными структурами (θ – Grids). Аргументная структура, являясь, по сути, проявлением синтаксической валентности слова, представляет собой определенный набор участников ситуации и их ролей, которые обуславливают комбинаторные возможности лексической единицы (Bierwisch, 1989). К основным ролям обычно относят следующие: агенс, пациенс, экспериенцер, стимул, адресат, реципиент, бенефактив, инструмент, причина, источник, цель, траектория, место (Плунгян, 2000, с. 165–166). М. Бирвиш отмечает, что аргументы и их роли могут быть референтными и нереферентными, внешними и внутренними, обязательными и произвольными (*optional*). Для структуры аргументной «сетки» определяющими являются категориальные свойства слова (для отглагольных субстантивов указание на категориальную принадлежность содержится в аргументной структуре аффикса).

Номинализации наследуют аргументную структуру глагола, но номинативный характер отглагольного имени может накладывать на него различные ограничения – одни роли блокируются, другие подавляются. Если большинство отглагольных субстантивов (*rescue*, *arrival*) в той или иной степени сохраняют событийную референцию исходного глагола, то в отдельных случаях наблюдается концептуальный сдвиг, который обусловлен двумя факторами:

1) экстралингвистическими знаниями о событиях, объединяющими вокруг ключевого концепта разнородные концепты (абстрактные процессы, физические объекты, социальные институты, состояния и пр.); 2) контекстом употребления отглагольного событийного имени. Так, отглагольное имя *translation* наследует от глагола *translate* референцию к определенному событию, которое содержит указание на результат, что дает возможность в некоторых контекстах интерпретировать данное имя как физический объект: *The translation of the Bible is more voluminous than the original.* (Bierwisch, 1989, p. 38–39). Подобного рода идиосинкратические концептуальные сдвиги, как правило, не получают формальной экспликации и, в отличие от морфологической идиосинкразии (*Reparatur, Spekulation*), не включаются М. Бирвишем в лексическую систему языка (Bierwisch, 1989).

Несмотря на то что М. Бирвиш рассматривает аргументную структуру номинализаций как отражение глубинных синтаксических связей, в его работах ясно прослеживается мысль, что значительная часть синтаксических свойств слова может быть выведена из его семантической репрезентации. Последняя, в свою очередь, непосредственно связана с референцией, соотносящей семантическую структуру языковой единицы с окружающим миром, который воспринимается и категоризируется в соответствии с мыслительными и перцептивными свойствами человека (Бирвиш, 1981; Bierwisch, 1989).

Понятие наследования аргументной структуры глагола в дальнейшем неоднократно используется в различных теориях номинализации¹. Однако каждый раз термины «аргументная сетка» (Θ -Grids) и «аргументные роли» (Θ -roles) получают новую интерпретацию. Так, А. Джорджи и Д. Лонгобарди, опираясь на положение Н. Хомского об идентичности селективных свойств глагола и отглагольного имени, составляющих общую единицу лексикона, строят конфигурационную гипотезу (Configurational Hypothesis). Взяв за основу предложенный Н. Хомским принцип изоморфизма глагольных и номинализованных конструкций (Chomsky, 1986), исследователи утверждают, что отглагольное имя сохраняет предписываемые глаголом аргументную структуру и Θ -роли. Так как семантическое содержание Θ -ролей, а также правила перестановки аргументов и предписывания им ролей едины для глагола и номинализации, то основное внимание исследователей сосредотачивается на различиях в конфигурациях внешних и внутренних аргументов, т.е. на синтак-

¹ См., например: Enrich, 2002; Demske, 2002.

сических позициях субъектов и объектов. Конфигурации аргументов обусловлены категориальной принадлежностью вершины синтаксической конструкции (Giorgi, Longobardi, 1991).

Однако некоторые лингвисты справедливо полагают, что реализация аргументной структуры зависит в большей степени от семантических различий аргументных ролей глагола и отглагольного имени. Категориальному пониманию аргументных ролей как синтаксических позиций противопоставляется тематический подход, при котором номинализация рассматривается как наследование тематической сетки, а не синтаксической структуры глагольной конструкции. Так, различия в конструкциях «оскорбление *Иванова Петровым*» и «уважение *Петрова к Иванову*» объясняется тем, что первая номинализация наследует от глагола тематическую роль агенса, а вторая – экспериенцера (Koptjevskaja-Tamm, 1993, p. 10). Правила, регулирующие зависимость синтаксической позиции элемента от его тематической Θ -роли, для глагола и соответствующей номинализации выводятся отдельно (Hoekstra, 1986; Rozwadowska, 1988).

Аргументно-функтивный подход видится как определенный шаг вперед по сравнению с трансформационалистскими и неотрансформационалистскими взглядами, так как в нем подчеркивается момент, весьма существенный для понимания процессов номинализации, а именно: образование отглагольного имени – это не только наследование, но и, возможно, существенное видоизменение аргументной структуры глагола. При этом важной оказывается семантическая репрезентация Θ -ролей, указывающая на особенности концептуализации человеком окружающей действительности.

Синтаксическая типология

В связи с вовлечением все большего количества языков в исследование отглагольной номинализации следует, как нам кажется, кратко осветить ее в рамках синтаксической типологии (Lefebvre, Muysken, 1988; Koptjevskaja-Tamm, 1993). Данное направление интересно для исследования лингвокреативных свойств отглагольного имени уже потому, что, хотя здесь и отмечаются некоторые общие, универсальные свойства номинализации, представители этой лингвистической школы демонстрируют также гибкость и разнообразие данных процессов как в конкретном языке, так и в различных языковых группах, что, в свою очередь, свидетельствует о значительном творческом потенциале отглагольной субстантивации.

Начало типологическим исследованиям номинализации было положено Б. Комри еще в 1976 г., когда вышла его статья, посвященная анализу конструкций с именами действия (Action Nominals). Написанная в самый разгар споров между трансформационалистами и лексикалистами работа Б. Комри представляет традиционное противопоставление двух подходов в совершенно ином свете. Используя данные нескольких языков, исследователь показывает, что анализ внутреннего синтаксиса номинализованных конструкций не может опираться на жесткую дихотомию двух типов номинализаций: S-типа, тяготеющего к структуре законченного предложения, и NP-типа, имеющего внутреннюю структуру именной группы. Степень близости отглагольных именных конструкций к какому-либо из двух типов номинализаций зависит от конкретного языка (Comrie, 1976).

В дальнейшем вопрос об отличиях свойств номинализаций от свойств исходного глагола решается в этом направлении за счет поиска сходств и различий возможных для них синтагматических разветвок (в виде следующих за ними аргументов). Так, М. Копчевская-Тамм, привлекая обширный языковой материал (70 языков), сравнивает средства связи номинализаций с их аргументами (субъектом и объектом действия) и способы реализации аргументов в соответствующих законченных предложениях и простых именных группах. В зависимости от близости номинализаций к именным или глагольным группам, она выделяет несколько типов отглагольных субстантивных конструкций для имен действий: 1) связь между номинализацией и ее аргументами аналогична синтаксическим связям законченного предложения; 2) данная связь реализуется через именную конструкцию; 3) часть аргументов выражена глагольными связями, часть – именными (смешанный тип); 4) у отглагольного имени используются особые средства передачи аргументов. Выбор той или иной конструкции обусловлен типологическими характеристиками конкретного языка: порядком слов, структурой простых именных групп, эргативностью, продуктивностью процессов инкорпорирования и др. (Kortjevskaja-Tamm, 1993).

Проблема варьирования языков по степени близости конструкций с отглагольными именами к обычным существительным либо к глаголам по-новому ставит вопрос о противопоставлении имени и глагола: так как в различных языках сходство номинализованных конструкций с глагольными или именными группами проявляется по-разному, то глубинная синтаксическая структура языковой единицы не

может служить универсальным средством разграничения глагольных и именных конструкций (Comrie, 1976; Kortjevskaja-Tamm, 1993).

Таким образом, если посмотреть на современные неотрансформационалистские, неолексикалистские и типологические исследования, то становится очевидным, что уже в недрах синтаксических теорий номинализации зреет понимание недостаточности описания данного явления только через призму глубинного синтаксиса. Особое внимание уделяется различиям между аргументными структурами глагола и отглагольного имени, и, следовательно, дистанция между субстантивированным глагольным высказыванием и соответствующим глаголом увеличивается. Тем самым подчеркивается тот факт, что отглагольные существительные обладают собственными независимыми свойствами и должны рассматриваться не столько как прямая модификация глагола, сколько как полноценная самостоятельная лексическая единица. Исключив лексические номинализации из сферы действия синтаксических трансформаций на основе их относительной нерегулярности и идиосинкразии, последователи Н. Хомского как бы провоцируют интерес лингвистов к собственным содержательным характеристикам отглагольных существительных.

Несмотря на то что большинство неотрансформационалистских и неолексикалистских теорий все еще тяготеет к синтаксическому рассмотрению номинализации¹, исследования в рамках данных направлений во многом подготовили почву для возникновения теорий, ориентированных на содержательный аспект, определяющий лингвокреативные особенности отглагольных имен. Поиски референтной базы отглагольных субстантивов, а также путей и способов их референции становятся одним из важнейших и перспективных направлений в изучении номинализации в современной лингвистике (к «понятийно-референтным» теориям мы можем отнести событийные теории и когнитивную теорию номинализации).

Событийные теории и формирование эвентологии (eventology)

В качестве отправной точки для событийных исследований номинализации выступает положение о том, что областью референции отглагольного существительного служит какое-либо событие. Семанти-

¹ Даже предикатно-аргументная запись отглагольного имени, как отмечает Е.С. Кубрякова, «предстает на следующих уровнях абстракции в виде тех же синтаксических деревьев» (Кубрякова, 1986, с. 105).

ческие и иные свойства номинализации обуславливаются тем, к какому событию они реферируют и какую дают ему интерпретацию. При данном подходе понятие «номинализация» фактически приравнивается к термину «событийное имя», а концептуальное пространство отглагольных существительных определяется емкостью самого понятия события.

К истокам событийного подхода к номинализации можно отнести два теоретических направления: логико-философский анализ, разработанный в 60–70-е годы З. Вендлером, Д. Дэвидсоном, Н.Д. Арутюновой и др., и аргументно-функтивный подход, выросший в 80-х годах из лексикалистских теорий.

В большинстве исследований, опирающихся на логический концептуальный анализ, событие выступает в качестве философской категории и трактуется крайне широко как любое изменение, обладающее пространственно-временными характеристиками (Vendler, 1967; Davidson, 1969)¹. Широкое понимание событийности, прежде всего, ставит проблему отграничения событий от фактов и пропозиций, которая занимает одно из центральных мест в теориях события с 60-х годов прошлого века и по настоящее время.

Вслед за Р. Лизом, разделившим номинализации на имена фактов и имена действий (Lees, 1960), З. Вендлер различает факты, пропозиции и события. Как отмечает К.А. Переверзев, заслуга З. Вендлера состоит в том, что он впервые «наделил “событие” и “факт” привязкой к формам языка» (Переверзев, 2000, с. 262). Факт не обладает локальной и темпоральной соотнесенностью с реальным миром и в отличие от события, относящегося к онтологии мира, принадлежит области эпистемологии. Нельзя сказать, что факт произошел в какое-то время, что он был длительным или мгновенным, что он имел начало и конец. Факт всегда содержит в пресуппозиции указание на его истинность или ложность. Можно упомянуть факт, отрицать его, он может стать причиной какого-либо события. Объективность факта противопоставлена субъективности пропозиции, которая может соответствовать или не соответствовать фактам, являясь субъективным отражением истинности последних. События, к которым З. Вендлер относит такие понятия, как процессы, действия, условия, ситуации, изменения, положения дел, локализованы во временном пространстве и представляют собой сущности реального мира (Vendler, 1967, 1970).

¹ Подробнее об этом см.: Ирисханова, 1996.

Традиционно широкому пониманию события (З. Вендлера и др.) Н.Д. Арутюнова противопоставляет более узкую его трактовку: для события релевантен признак важности, выделенности из потока происходящего (Арутюнова, 1988, 1999). Событийное, как и пропозитивное (фактообразующее) значение, связано с предложением и выражается номинализациями. События соотносятся с полными номинализациями, которые непосредственно отражают реалии (*Приятный запах роз известен всем*), факты – с неполными номинализациями, представляющими суждения о реалиях (*То, что розы приятно пахнут, известно всем*). Н.Д. Арутюнова пишет: «Значение неполных номинализаций... принадлежит области эпистемологии (знаний, мнений, утверждений и других категорий ментального плана), а значение полных номинализаций относится к сфере онтологии – действительности, того, что происходит in rerum natura» (Арутюнова, 1999, с. 408). Полностью номинализованные группы (perfect nominals у З. Вендлера, Vendler, 1967) в большей степени удалены от соответствующих изолированных глагольных предложений, чем неполностью номинализованные группы (imperfect nominals). Полные номинализации демонстрируют определенные внутрипропозитивные преобразования: «актанты переходят из приглагольной позиции в приименную и получают функцию детерминативов имен» (*наша с ним встреча*) (Арутюнова, 1999, с. 443).

Наряду с логико-философской интерпретацией событийных имен в рамках теории события существует и другой достаточно распространенный подход, при котором значение номинализации соотносится с внутренней структурой события, передаваемой глаголом. В духе аргументно-функтивной теории отглагольное имя рассматривается как «наследник» аргументной структуры глагола – тематической сетки аргументов (Hukstra, 1986; Grimshaw, 1990; Kortjevskaja-Tamm, 1993; Rozwadowska, 1997).

Особое значение приобретает классификация событий, при этом деление их на группы определяется, прежде всего, семантическими характеристиками глагола, т.е. тем, какие аргументы рассматриваются в качестве центральных при описании события и какие характеристики события наследуются событийным именем вместе с аргументной структурой глагола.

Одни исследователи выдвигают в качестве центральных свойств события пространственные параметры (Voorst, 1988), другие – временные (Шабес, 1989; Pustejovsky, 1991). В некоторых работах подчеркивается необходимость объединения двух плоско-

стей – пространственной и временной в единое хронотопное пространство (Кубрякова, 1976; Rozwadowska, 1997).

В работах Дж. Гримшо в качестве ведущей характеристики внутренней структуры события рассматривается аспектуальность (Grimshaw, 1990, 1994). Анализируя семантическую нечеткость отглагольных имен, допускающих двойственное толкование «результат/процесс» (*This is my favourite possession/Possession of the knife was her dream*), Дж. Гримшо противопоставляет сложные событийные номинализации (complex event nominals), содержащие аргументную структуру, простым событиям (*race, war, exam*) и именам, обозначающим результат (*construction* в значении «building»). Если первый тип номинализации жестко связан с аргументами и их Θ -ролями – агенсом и пациенсом (*The assignment of unsolvable problems by the instructor*), то вторая группа отглагольных имен находится в достаточно свободных ассоциативных отношениях с семантическими участниками ситуации и не имеет грамматических аргументов (*Dan's construction impressed us*). В данном примере *Dan* может выполнять разные функции по отношению к *construction*: создать, владеть, восхищаться, следить за объектом. Он не является грамматическим аргументом, так как его Θ -роль четко не определена (Siloni, 1997, p. 3–4). Если бы надо было перефразировать это предложение, например, при переводе, выбор между конструкциями был бы затруднителен (ср.: *Нас восхищало здание, построенное Даном. – Нас восхищало здание, купленное Даном. – Нас восхищало здание, принадлежащее Дану и т.д.*).

Процесс номинализации, характерный только для сложных событийных имен, предполагает соединение двух планов – тематического и аспектуального, что проявляется в «подавлении» внешнего тематического аргумента (агенса, в понимании Дж. Гримшо) и в обязательном указании на аспект. Подавление агенса реализуется в английском языке фразой с предлогом *by*, прилагательными, косвенно указывающими на агенса (*intentional*), обстоятельством цели (*in order to do sth*), а аспектуальность проявляется через модификаторы типа *constant, frequent* и *in an hour*. Наследование аргументной структуры обуславливает семантическую преемственность имени по отношению к глаголу, а отсутствие аргументной структуры приводит к семантической асимметрии или идиосинкразии (Grimshaw, 1990).

Некоторые исследователи отводят центральное место в аргументной структуре событийного имени участникам события (Roz-

wadowska, 1997). Так, в зависимости от характера и количества партиципантов Б. Розвадовска выделяет «внешние» и «внутренние» отглагольные имена. Внутренние номинализации обозначают психологические или эмоциональные состояния, процессы. Аргументная структура таких имен включает в себя только аргумент «тот, кто испытывает эмоциональное состояние» (Experiencer). Если референция внешних событий определяется пространственно-временными параметрами (место, время, участники и т. д.), в фокусе референции внутренних событий находится эмоционально-психологическое состояние экспериенцера (Rozwadowska, 1997). Сходные мысли находим у М. Бирвиша, который замечает, что номинализации могут реферировать не только к событиям (т.е. процессам, состояниям и собственно событиям), но и к ментальным состояниям, отношениям, чувствам и т. д. (*hope, belief, opinion, intention*) (Bierwisch, 1989, p. 36).

Таким образом, основная задача событийных теорий номинализации может быть сформулирована как определение области референции имен-событий. Реферируя к событию через глагольную основу, отглагольные существительные наследуют аргументную структуру соответствующего глагола по-разному. Творческий характер номинализации видится в том, что в результате данного процесса могут появляться единицы с разной степенью удаленности от глагола.

Однако сфера интересов большинства «референтных» теорий не ограничивается поиском того, что именно представляет собой область референции отглагольного имени, но и включает в себя также и то, каким образом номинализации соотносятся с реальными объектами и ситуациями (когнитивная теория).

Когнитивный подход

Когнитивная теория номинализации существенно отличается от предыдущих направлений тем, что ищет объяснение всему комплексу деривационных, семантических и синтаксических явлений, которые сопровождают образование отглагольных имен, и находит его в особенностях творческого познания человеком окружающего мира. Подобно тому, как ономазиологическое направление пытается отразить познавательные моменты в номинативной деятельности, когнитивная лингвистика сосредоточена на особенностях соз-

даваемых в результате когнитивной деятельности структур знания, которые объективируются в актах номинации.

Каждая языковая единица рассматривается в когнитологии не просто как носитель определенного «кванта знаний», а как облегченный ментальный «след» объекта, «на место которого можно подставить весь объем знаний для целей когнитивных операций более высокого уровня» (Бейтс, 1984, с. 96).

В разработанной Е.С. Кубряковой концепции внутреннего лексикона (Кубрякова, 1990, 1991) слово рассматривается через его способность «репрезентировать и заменять в сознании человека определенный осмысленный им фрагмент действительности, указывать на него, отсылать к нему, возбуждать в мозгу все связанные с ним знания – как языковые, так и неязыковые, – и в конечном счете оперировать этим фрагментом действительности в процессах мыслительной и речемыслительной деятельности» (Кубрякова, 1997 а, с. 51). Следовательно, определяющим для творческих языковых процессов является не только объем концептуального содержания участвующих элементов языка, но обязательно и то, как это содержание конструируется (Johnson, 1987; Lakoff, 1987; Langacker, 1991 а; Беляевская 1991; Кубрякова, 1997 а, б, 1998, 1999).

Когнитивные теории номинализации послужили предметом специального анализа в трудах Е.С. Кубряковой (Кубрякова, 1997 а, 1998, etc.), поэтому кратко остановимся лишь на основных положениях, выдвинутых когнитологами, которые изучают данное языковое явление.

В фокусе внимания когнитивных исследований находится способ представления порождаемой в сознании человека структуры знания и, как следствие, концептуальное содержание отглагольных имен. В отличие от уже перечисленных теорий, опирающихся, по мнению сторонников понятийного подхода, на объективистское понимание семантики языковых единиц, в основе понятийных исследований лежит представление о языковом значении как феномене субъективном. Противопоставление объективизма и субъективизма в описании семантики языковых явлений проводится, в частности, Р. Лэнекером.

Применительно к номинализациям такое различие сводится к следующему: для «объективиста» глагол и отглагольное имя в семантическом плане идентичны, поскольку соотносятся с одним и тем же фрагментом объективной действительности; для «субъективиста» глагол и образованное от него существительное различаются способами концептуализации соответствующей реалии (Langacker, 1991 b, p. 97–

100). В первом случае исследователь, отталкиваясь от семантического сходства глагола и отглагольного имени, сосредотачивается в основном на формальных отличиях номинализации от исходного глагола, на эксплицитных способах преобразования глагола в отглагольное субстантивное образование. Главная задача субъективистского исследования – установить области и пути референции отглагольных субстантивов исходя из глубинных различий семантики имени и глагола.

Особое внимание уделяется номинализации в работах Р. Лэнкера, который рассматривает ее в качестве когнитивной операции *реификации* (эквивалент термина «опредмечивание» в русской лингвистической традиции) (Langacker, 1991 a, 1991 b, 2000).

Понимание процессов номинализации основано на одной из главных идей когнитивной семантики: языковое значение отражает творческое преломление в человеческом сознании телесных (пространственных) ощущений. Прототипами для грамматических категорий имени и глагола служат физические объекты и их взаимодействие в пространстве.

Р. Лэнкер уподобляет универсальное противопоставление существительного и глагола так называемой «модели бильярдного шара». Подобно игре в бильярд, в которой на определенном пространстве (бильярдном столе) происходит столкновение (обмен энергией) шаров, категориальная принадлежность слов также определяется базовыми концептами пространства, времени, материальной субстанции и переноса энергии. Как в реальном мире, так и в языке объекты и их взаимосвязи противопоставлены по нескольким признакам: по области проявления энергии, по характеру участников ситуации и их связей, по возможности независимой концептуализации объектов-участников (Langacker, 1991 a, p. 283). Описание имени и глагола через прототипические концепты (объекты и их взаимодействие) позволяет обосновать гетерогенный характер грамматических категорий и объяснить, почему, например, существительные могут включать слова, обозначающие не только предметы, но также признаки и действия.

Однако выделение единой концептуальной базы у имени и глагола само по себе не достаточно для изучения различных способов означивания одной и той же ситуации: *бегать* – *бег*, *петь* – *пение* и т.д. Поэтому особая роль в когнитивной теории номинализации отводится креативной способности человека конструировать ситуацию альтернативными способами (Langacker, 1991 a, p. 15). Следовательно, основное различие между субстантивными и реляционными единицами состоит

в том, как они организуют отражаемый фрагмент действительности по принципу противопоставления в нем Фигуры – Фона и того, какие элементы здесь профилируются (Langacker, 1991 a, 1991 b, 1997, 2000).

Вслед за Т. Гивоном Р. Лэнекер полагает, что существительное концептуализирует объект, опираясь на его пространственные координаты и представляя его как компактно локализованный в пространстве и обладающий определенной стабильностью (Givon, 1979, p. 320–323).

В глаголах, напротив, отражаются процессы, т.е. взаимодействие между физическими объектами, которое связано не столько с материальной субстанцией, сколько с переносом энергии от одного объекта к другому и с изменением этих объектов. В профиле глагола находятся темпоральные отношения, последовательно развивающиеся за определенный отрезок времени. В процессе концептуализации человек может «сканировать» последовательность статичных отношений либо воспринять ее целиком в виде единого гештальта. В отличие от объектов, которые концептуально автономны, отношения концептуально зависимы в том смысле, что не существуют в отрыве от участников ситуации и всегда референтно соотносимы с физическими объектами, через которые данные связи проявляются (Langacker, 1991 a, p. 14).

Отглагольные имена, так же как и глаголы, могут указывать на событие. Но в отличие от глагола, который «последовательно сканирует» цепочку событий или компоненты события, в процессе концептуальной реификации событие конструируется как предмет, при этом профилируется некоторая область (region) какого-либо домена, представляющая собой набор взаимосвязанных элементов (entities)¹. При этом номинативный референт может инстанцироваться в любом домене (пространственном, временном и др.) (Langacker, 1991 b, p. 97–99). Р. Лэнекер полагает, что номинализация представляет событие атемпорально в виде единого гештальта независимо от сложности ситуации (Langacker, 1991 a, p. 5).

Таким образом, с точки зрения когнитивной грамматики номинативные пары типа *explode / explosion* не являются семантически идентичными: при сходстве концептуального содержания различны пути его конструирования. Из этого можно сделать

¹ Термин «элемент» употребляется Р. Лэнекером в максимально широком значении: элементы понимаются как любые единицы ментального опыта, разнообразные материальные объекты, отношения, местоположения, расстояния, ощущения, точки на шкале и т.д. Взаимосвязь между ними проявляется тогда, когда они становятся участниками или аспектами какого-либо когнитивного события (Langacker, 1991 a).

следующий вывод: суть языкового творчества состоит в поиске или создании языковых единиц, выражающих качественно новые пути концептуализации объекта.

В зависимости от способов реификации Р. Лэнекер выделяет несколько типов номинализаций. К первому типу относятся отглагольные имена, в которых профилируется элемент, входящий во внутреннюю структуру глагола – субъект, объект, инструмент и т.д. (*complain*; *dancer*; *draftee*; *rocker*; *painting*, *diner*). Подобно Ч. Филлмору Р. Лэнекер называет данные элементы ролями, подчеркивая, однако, их «архетипический» характер, т.е. их первичный статус и долингвистическое происхождение (Langacker, 1991a, p. 285).

В профиле второго типа номинализаций находится отдельный эпизод процесса, обозначенного глаголом (*operation*, *explosion*). В данном случае в роли номинативного референта выступает область, включающая последовательность состояний, которая воспринимается как единое целое.

Третья группа отглагольных имен в классификации Р. Лэнекера обозначает способ осуществления действия (*walk*, *swing*, *behaviour*). Здесь, так же как и для существительных *глупость*, *белизна*, процессы реификации демонстрируют преобладание качественного фактора над пространственно-временными (Langacker, 1991 a, p. 30–31).

Описание номинализаций через понятия прототипа и профилирования представляет в новом свете такие традиционные проблемы номинализаций, как принадлежность ее к синтаксису или лексикону, предсказуемость ее семантических, структурных и функциональных свойств, а также разграничение имен-фактов и имен-действий.

Для когнитологов нерелевантна проблема причисления номинализаций к синтаксису или лексикону, так как когнитивная грамматика стирает границы между языковыми подсистемами, рассматривая любые единицы языка как поле деятельности для различных когнитивных процессов. Подобным образом решается и вопрос о продуктивности / непродуктивности словообразовательных моделей и предсказуемости / непредсказуемости семантики отглагольных имен.

Р. Лэнекер объясняет различную степень словообразовательной продуктивности и семантической предсказуемости частотой употребления и готовностью к включению имени в систему языка

(entrenchment), которые в свою очередь обусловлены уровнем процессов субстантивации.

В этой связи интересна интерпретация Р. Лэнекером классических примеров номинализаций-действий (action nominalizations) и номинализаций-фактов (factive nominalizations): *Zelda's signing of the contract* – *Zelda's signing the contract*. Данные типы конструкций обнаруживают различную степень субстантивации: имена действия описывают событие как физическое действие, при этом номинализуется только глагольная основа, уточняющая тип процесса (process type); фактивы сосредотачиваются на том, что событие имело место, и профилируют все компоненты предложения, кроме эксплицитного подлежащего и предикативных свойств, таких как модальность и время (an ungrounded instance of the type). Наряду с именами действия и фактивами Р. Лэнекер выделяет номинализации-предложения (конструкции «that-clause», например, *That Harvey taunted a bear is unfortunate*), которые, в отличие от близких к ним по уровню субстантивации имен-фактов, указывают на определенное событие, привязанное к конкретным участникам и мнению говорящего / слушающего (a grounded instance of the type) (Langaeker, 1991 a, p. 33–34)¹.

Примечательно также и то, что в то время как трансформационалисты рассматривают *'s*, *of* и *by* в качестве семантически пустых маркеров (Lees, 1960; Chomsky, 1970), для когнитологов они несут в себе концептуальное содержание. Р.Лэнекер отмечает, что отглагольное существительное профилирует не сам процесс, а абстрактную область, включающую в себя состояния как составные элементы имплицитного процесса. Так как образованное имя не процессуально, оно не может участвовать в обычных для глагола конструкциях (с субъектом и объектом в роли подлежащего и дополнения). Если говорящий хочет охарактеризовать участников процесса, он должен использовать иные по сравнению с глаголом языковые средства. Хотя маркеры *'s*, *of* и *by* по форме остаются модификаторами существительного, они применяются к другим когнитивным доменам – к имплицированным в отглагольных именах процессам (Langaeker, 1991 a, p. 37).

Итак, особенностью существующих когнитивных теорий номинализации является то, что в них процессы глагольной субстантивации рассматриваются как определенный способ представления

¹ См. также: Beck, 1997; Heyvaert 2003.

в языковом знаке концептуального содержания, общего как для существительного, так и для глагола-источника. При этом отглагольное имя, наследуя концептуальную базу глагола, отличается от последнего тем, что профилирует определенную область данной базы. Подобный подход «привязывает» семантику номинализации к концептуальному содержанию глагола, сводя различие между ними к смещению фокуса на тот или иной элемент концептуальной структуры. Вместе с тем представляется, что само появление в языке существительных, образованных от глаголов, вызвано необходимостью создания новых языковых единиц с собственными уникальными когнитивными свойствами, которые обнаруживают себя не только на уровне концептуальной организации их значения, но и в особенностях их поведения в дискурсе.

Резюмируя изложенное, подчеркнем, что с момента превращения отглагольной номинализации в самостоятельный объект лингвистического исследования, взгляды ученых на данное явление обнаруживают значительные расхождения. Изучение номинализации идет по расширяющейся спирали, когда каждое последующее исследование, опираясь на предыдущие описания, не только меняет угол рассмотрения объекта, раздвигает сами границы исследования за счет привлечения нового языкового материала, но и ставит более глубокие задачи поиска скрытых механизмов межкатегориальных переходов, обслуживающих процессы образования отглагольных субстантивов.

Несмотря на разнородность и многообразие описаний процессов номинализации представляется возможным, на наш взгляд, установить некоторые общие принципы, которым следуют все современные лингвистические школы и направления при изучении отглагольных имен существительных. К ним относятся следующие принципы: 1) вербоцентричность – признание обусловленности структурных, содержательных и функциональных свойств номинализации предикатно-актантной структурой глагола-источника (отсюда акцент на правила наследования глагольных свойств при описании номинализации); 2) дифференциация отглагольных имен по степени вербогенности – описание различных способов наследования отглагольным именем аргументной структуры глагола; 3) специфичность отглагольных номинализаций – выделение у отглагольных имен особых, присущих только им содержательных и иных свойств.

Примечательно, что в зависимости от того, какой из приведенных принципов выдвигается на передний план, можно выделить два пути описания отглагольных номинализаций. Первый, сосредото-

тачиваясь на источнике номинализации, трактует отглагольную субстантивацию как процесс девербализации: внимание уделяется сохранению или потере тех или иных глагольных свойств соответствующим отглагольным именем (неотрансформационалистский и неолексикалистский подходы). Второй способ исследования ставит в фокус внимания результат номинализационных процессов, а именно – образование новой лексической единицы с уникальными свойствами и функциями (событийный и когнитивный подходы).

Анализ различных традиций в исследовании номинализации также демонстрирует то, что они не исключают, а во многом дополняют друг друга. Так, для решения проблем дериватологии исследователи широко привлекают данные синтаксиса, в то время как изучение построения отглагольных именных конструкций невозможно без учета их понятийных параметров. Примером совмещения морфологического и синтаксического подходов могут служить недавние исследования номинализации в дериватологии с синтаксической точки зрения. Для некоторых языков (например, каталанского) было замечено употребление неоднозначных суффиксов, которые в зависимости от характера номинализации (результат или процесс) выступают либо в роли словоизменительного, либо в роли словообразовательного элемента (Borer, 1991; Picallo, 1991)¹.

Список литературы

- Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл. – М., 1976. – 383 с.
- Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. – М., 1988. – 341 с.
- Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – 2-е изд., испр. – М., 1999. – 896 с.
- Бейтс Э. Интенции, конвенции и символы // Психолингвистика. – М., 1984. – С. 180–194.
- Беляевская Е.Г. Семантическая структура слова в номинативном и коммуникативном аспектах: (Когнитивные основания формирования и функционирования семантической структуры слова): Дис. ... д-ра филол. наук. – М., 1991. – 401 с.
- Бирвиш М. Семантика // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1981. – Вып. 10. – С. 177–199.

¹ Сюда также можно отнести многочисленные исследования падежных конструкций при отглагольных именах, в частности, анализ семантики генитива (см. подробнее: Rozwadowska, 1997).

- Ирисханова О.К.* Семантика событийных имен существительных в языке и речи: Дис. ... канд. филол. наук – М., 1996. – 200 с.
- Ирисханова О.К.* О лингвокреативной деятельности человека: Отглагольные имена. – М., 2004. – 350 с.
- Кубрякова Е.С.* Номинативный аспект речевой деятельности. – М., 1986. – 157 с.
- Кубрякова Е.С.* Противопоставление имен и глаголов как важнейшая черта организации и функционирования языковых систем // Теория грамматики: Лексико-граммат. классы и разряды слов. – М., 1990. – С. 29–50.
- Кубрякова Е.С.* Слово как центральная единица внутреннего лексикона // Человеческий фактор в языке: Язык и порождение речи. – М., 1991 а. – С. 96–112.
- Кубрякова Е.С.* Модели порождения речи и главные отличительные особенности речепорождающего процесса // Человеческий фактор в языке: Язык и порождение речи. – М., 1991 б. – С. 21–81.
- Кубрякова Е.С.* Части речи с когнитивной точки зрения. – М., 1997 а. – 314 с.
- Кубрякова Е.С.* Язык пространства и пространство языка: (К постановке вопроса) // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. – М., 1997 б. – Т. 56, № 3. – С. 22–31.
- Кубрякова Е.С.* Актуальные проблемы изучения словообразовательных систем славянских языков // Науч. докл. филол. фак. МГУ. – М., 1998. – Вып. 3. – С. 53–89.
- Кубрякова Е.С.* Семантика в когнитивной лингвистике (о концепте КОНТЕЙНЕРА и формах его объективации в языке) // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. – М., 1999. – Т. 58, № 6. – С. 3–12.
- Падучева Е.В.* О семантике синтаксиса. – М., 1974. – 292 с.
- Переверзев К.А.* Пространства, ситуации, события, миры: К проблеме лингв. онтологии // Логический анализ языка: Языки пространств. – М., 2000. – С. 255–267.
- Плунгян В.А.* Общая морфология: Введение в проблематику – М., 2000. – 384 с.
- Шабес В.Я.* Событие и текст. – М., 1989. – 175 с.
- Abney S.* The English NP in its sentential aspect: PhD diss. – Cambridge (Mass.), 1987. – 363 p.
- Beck D.* Patterns of nominalization in Bella Coola and Lushootseed // The 5th International cognitive linguistics conference. – Amsterdam, 1997. – P. 29.
- Bierwisch M.* Event nominalizations: Proposals a. problems // Ling. Studien. R.A. Arbeitsberichte. – B., 1989. – Bd. 149. – P. 1–13.
- Borer H.* The causative-inchoative alternation: A case study in parallel morphology // Ling. rev. – Berlin; N.Y., 1991. – Vol. 8. – P. 119–158.
- Borer H.* Parallel morphology. – Amherst, 1993. – 267 p.
- Bresnan J.W.* Control and complementation // The mental representation of grammatical relations. – Cambridge, 1982. – P. 282–390.
- Bresnan J.W., Kaplan R.M.* Introduction // Ibid. – P. XVII–LII.
- Chomsky N.* Remarks on nominalization // Readings in English transformational grammar. – Waltham, 1970. – P. 184–221.

- Chomsky N.* Conditions on transformations // A Festschrift for Morris Halle. – N.Y., 1973. – P. 232–286.
- Chomsky N.* On binding // Ling. inquiry. – Cambridge, 1980. – Vol. 11, N 1. – P. 1–46.
- Comrie B.* The syntax of action nominals: A cross-ling. study // Lingua. – Amsterdam, 1976. – Vol. 40. – P. 177–201.
- Davidson D.* The individuation of events // Essays in honour of Carl G. Hempel. – Reidel, 1969. – P. 216–234.
- Demske U.* Nominalization and argument structure in Early New High German // Papers in linguistics. – Berlin, 2002. – N 27. – P. 67–90.
- Ehrlich V.* The thematic interpretation of plural nominalizations // Ibid. – P. 23–38.
- Fraser B.* Some remarks on the action nominalization in English // Readings in English transformational grammar. – Wash., 1970. – P. 83–98.
- Fu J.-Q.* On deriving Chinese derived nominals: PhD diss. – Amherst, 1994. – 224 p.
- Giorgi A., Longobardi G.* The syntax of noun phrases: Configurations, parameters and empty categories. – Cambridge, 1991. – 285 p.
- Givón T.* On understanding grammar. – N.Y., 1979. – 379 p.
- Grimshaw J.* Argument structure. – Cambridge (Mass.), 1990. – 202 p.
- Grimshaw J.* Lexical reconciliation // Lingua. – Amsterdam, 1994. – Vol. 92. – P. 411–430.
- Heyvaert L.* A cognitive-functional approach to nominalization in English. – Berlin; N.Y., 2003. – 287 p.
- Hoekstra T.* Deverbalization and inheritance // Linguistics: Interdisc. j. of the lang. sciences. – Berlin etc., 1986. – Vol. 24, № 3. – P. 549–584.
- Jackendoff R.* X'-Syntax: A study of phrase structure. – Cambridge (Mass.), 1977. – 248 p.
- Johnson M.* The body in the mind. – Chicago, 1987. – 233 p.
- Koptjevskaja-Tamm M.* Nominalizations. – L.; N.Y., 1993. – 333 p.
- Lakoff G.* Women, fire and dangerous things: What categories reveal about the mind. – Chicago, 1987. – 614 p.
- Langacker R.* Foundations of cognitive grammar. – Stanford, 1991a. – Vol. 2. – 573 p.
- Langacker R.* Concept, image and symbol: The cognitive basis of grammar. – Berlin; N.Y., 1991 b. – 395 p.
- Langacker R.* Consciousness and subjectivity // Language, structure, discourse and the access to consciousness. – Amsterdam, 1997. – P. 49–76.
- Langacker R.* Grammar and conceptualization. – Berlin; N.Y., 2000. – 427 p.
- Lees R.B.* The grammar of English nominalization. – The Hague, 1960. – 205 p.
- Lefebvre C., Muysken P.* Mixed categories: Nominalizations in Quechua. – Dordrecht, 1988. – 304 p.
- Longobardi G.* Reference and proper names: A theory of N-movement in syntax and logical form // Ling. rev. – Berlin; N.Y., 1994. – Vol. 12. – P. 215–143.
- Piccolo C.* Nominals and nominalizations in Catalan // Probus: Intern. j. of Lat. a. Romance linguistics. – Berlin; N.Y., 1991. – Vol. 3, N. 3 – P. 271–316.

- Pustejovsky J.* The syntax of event structure // *Cognition*. – Amsterdam, 1991. – Vol. 41. – P. 47–81.
- Rozwadowska B.* Towards a unified theory of nominalizations: External a. internal eventualities. – Wrocław, 1997. – 116 p.
- Siloni T.* Noun phrases and nominalizations: The syntax of DPs. – Dordrecht; Boston; L., 1997. – 220 p.
- Szabolcsi A.* Functional categories in the noun phrase // *Approaches to Hungarian*. – 1987. – Vol. 2. – P. 167–189.
- Vendler Z.* Facts and events // *Linguistics in philosophy*. – Ithaca; N.Y., 1967. – P. 12–146.
- Vendler Z.* Say what you think // *Studies in thought and language*. – Arizona, 1970. – P. 79–97.
- Voorst J.V.* Event structure // *Syntax and variation*. – Amsterdam, 1988. – 181 p.

Н.Н. Трошина

КОГНИТИВНАЯ ПАРАДИГМА В ЛИНГВОСТИЛИСТИКЕ

Исследование языка с когнитивной точки зрения, т.е. «по его участию во всех типах деятельности с информацией, протекающей в мозгу человека» (Кубрякова, 2004, с. 13), предполагает анализ видов знания и способов их языкового представления. Язык при этом трактуется как «основное средство фиксации, хранения, переработки и передачи знания», а человек – как человек *познающий*, разум, мышление, ментальные процессы и состояния которого и являются объектом когнитивной науки (Маслова, 2004, с. 6). Такое определение когнитивной науки делает, однако, необходимым уточнение соотношения понятий «знание» и «познание». «Познание, – пишет Н.Ф. Алефиренко, – процесс отражения и воспроизведения в мышлении действительности, в результате которого происходит накопление знания... Знание – базисная форма когнитивной организации результатов отражения объективных свойств и признаков действительности в сознании людей, поскольку оно представляет собой важный фактор упорядочения их повседневной жизни и деятельности» (Алефиренко, 2005, с. 174). Итак, знание есть результат познания.

Обращение к проблематике когнитивной лингвистики возможно лишь при учете так называемого «человеческого фактора», т.е. при введении в парадигму лингвистики понятия языковой личности. Это позволяет, считает Ю.Н. Караулов, рассмотреть во взаимодействии четыре фундаментальных свойства языка, так как: 1) личность есть средоточие и результат действия социальных законов; 2) она есть продукт исторического развития этноса; 3) ее мотивационные установки принадлежат к психической сфере;

4) личность есть создатель и пользователь знаковых образований (Караулов, 1986).

Под языковой личностью Ю.Н. Караулов понимает «совокупность способностей и характеристик человека, обуславливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются: а) степенью структурно-языковой сложности; б) глубиной и точностью отражения действительности; в) определенной целевой направленностью (Караулов, 1989, с. 3)». В понятии языковой личности автор различает три уровня: 1) вербально-семантический (нормальное владение языком); 2) когнитивный (набор систематизированных идей, понятий, концептов); 3) прагматический (цели, мотивы, установки коммуникантов) (там же, с. 5). Именно выделение когнитивного уровня делает концепцию Ю.Н. Караулова очень продуктивной для рассмотрения когнитивного аспекта языкового стиля в двух планах: 1) парадигматическом – как совокупности стилистических параметров структур представления знания (концептов, фреймов и т.д.) и 2) синтагматическом – как специфики коммуникативной тональности текстов (Коробов, 1997, с. 78), порожденных коммуникантами в реальных речевых актах, ведь, как известно, «стиль – это человек».

Исследования языковой личности с учетом ее национальной и культурной специфичности привели к расширению и изменению современной лингвистической парадигмы, основные характеристики которой называет Е.С. Кубрякова: экспансионизм; антропоцентризм; функционализм, или, скорее, неофункционализм; экспланаторность (Кубрякова, 1995, с. 207). Изменения привели к тому, что Ю.М. Малинович и М.В. Малинович называют полипарадигмальностью языкознания (Малинович, Малинович, 2003, с. 8). Ср. также замечание В.И. Шаховского, Ю.А. Сорокина и И.В. Томашевой: «Остаточный принцип, как хвост кометы, проявлялся более или менее ярко в очередной сменяющей парадигме, оставаясь в ней в виде определенного следа от всех предыдущих парадигм» (Шаховский, Сорокин, Томашева, 1998, с. 3).

Для темы настоящего обзора актуален следующий вывод указанных авторов: «Сейчас трудно отрицать тесное переплетение дескриптивной, системной, функциональной, коммуникативной, прагматической, психолингвистической, тексто-центрической и других парадигм языкознания. В данный момент в нем доминирует когнитивная парадигма» (там же). Отметим важный смысловой момент в этой цитате: большинство перечисленных парадигм объединяются в антропологической лингвистике, в которой доминирует

когнитивная парадигма. Ее базовыми понятиями являются человек и естественный язык в их объективно существующей взаимосвязи: «...человек вне языка не существует, язык вне человека может существовать только как исторический памятник. При помощи языка человек картирует не только окружающий мир, но и себя в этом мире» (Малинович, Малинович, 2003, с. 20).

Непременное участие человеческих эмоций в процессе познания объективной действительности традиционно подчеркивалось во многих философских, психологических и лингвистических исследованиях. Так, Ш. Балли указывал во «Французской стилистике», что «наша мысль постоянно и непреднамеренно добавляет к малейшему восприятию элемент оценки. Конечно, эта тенденция, присущая нашей природе, отражается и в языке. Проявлением этой тенденции в речи и является экспрессивная доминанта» (Балли, 1961, с. 183). Этой точке зрения было созвучно мнение Г.В. Колшанского о том, что, «говоря о предметном мире языкового содержания, безусловно, необходимо включать сюда и все объекты интроспекции (эмоции, психические состояния), поскольку они в этом случае также становятся объектом по отношению к познавательной деятельности» (Колшанский, 1976, с. 10). Восприятие, сенсомоторика, когнициия, память и эмоции – вот те механизмы, с помощью которых человек порождает и запоминает образ окружающего мира, пишет современный немецкий исследователь З. Шмидт (Schmidt, 1994, S. 114). Чувства человека, его действия и общение определяются теми возможностями, которыми он располагает как член общества, носитель языка и определенной культуры.

Подтверждение этому положению находим также в монографии Н.А. Красавского «Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах»: «Предметы мира могут мыслиться эмоционально. Более того, некоторые из них в силу своих природных свойств не могут эмоционально не мыслиться» (Красавский, 2001, с. 74). Аналогичную точку зрения высказывает С.А. Хахалова, указывая, что существуют определенные группы смыслов, на которые от природы настроены человеческие существа (Хахалова, 2003, с. 195), – автор пользуется термином «концептосфера личностной пристрастности». С тем, что такие группы смыслов существуют, соглашаются также Ю.М. Малинович и М.В. Малинович, обозначая эти группы смыслов как «семантику эгоцентрических категорий» и относя к ним концепты «долг», «совесть», «честь», «бесчестье»,

«жизнь», «смерть», «добро», «зло», «любовь» (Малинович, Малинович, 2003, с. 26–27).

Поскольку эмоции накладывают свой неизгладимый отпечаток на все результаты человеческой деятельности, а язык «упаковывает» эти результаты в свои формы, то он «упаковывает» в них и этот эмоциональный отпечаток, который также неповторим, пишет В.И. Шаховский (Шаховский, 2000, с. 3). Как отмечает Е.С. Кубрякова в книге «Части речи в ономаσιологическом освещении», при этом «слова светятся отраженным светом вещей» (Кубрякова, 1978, с. 3). Этот «отраженный свет вещей», эмоциональное значение слов, которые изучаются лингвистической стилистикой и именуются стилистическими значениями, являются результатом эмоционального освоения человеком соответствующих фрагментов действительности. По своей природе стилистическое значение может быть охарактеризовано как значение абсолютное, так как оно характеризуется регулярностью и соотносится с определенными сферами познавательной деятельности человека.

Лингвистический статус абсолютного стилистического значения обоснован в трудах отечественных лингвистов И.Р. Гальперина (Гальперин, 1976) и Э.Г. Ризель (Riesel, Schendels; 1975; Ризель, 1980). Как указывал И.Р. Гальперин, значение может иметь в большей или меньшей степени субъективно-оценочный характер, с одной стороны, и выделительно-познавательный – с другой. В качестве первого признака появляется эмоциональный компонент семантической структуры слова, а в качестве второго – денотативное значение слова. Таким образом, возникают эмоциональные значения, которые могут сопровождать предметно-логические значения слова, а могут быть и самостоятельными значениями.

В рамках концепции Э.Г. Ризель абсолютное стилистическое значение расщепляется на компоненты: функциональный, экспрессивный и нормативный. В соответствии с этим абсолютная стилистическая окраска слова определяется как компонент значения слова, указывающий на его положение в лексико-семантической системе языка относительно употребления в функциональной сфере (функционально-стилистическая окраска) и в ситуации общения (нормативно-экспрессивная окраска).

С вопросом о системном статусе стилистического значения тесно связан вопрос о коннотативном значении, о «коннотациях». Для такого вопроса есть основания, поскольку на системном, т.е. абсолютном стилистическом значении чаще всего строится коннотативное значение, так, например, экспрессивное слово «вешний»

чаще всего коннотативно связывается с понятиями «радостный», «оживленный», «полный надежд». По мнению Э.Г.Ризель, именно экспрессивный компонент абсолютного стилистического значения вызывает наиболее сильные коннотации потому, что референциальные семы слова усиливаются его абсолютным стилистическим значением (Ризель, 1980, с. 136). Однако референциальные семы стилистически нейтральных слов могут также порождать коннотации, что, например, имеет место у слова «предательство».

В процессе речевого общения «коннотации объективизируются» (там же), т.е. стандартизируются и типизируются, превращаясь в «устоявшиеся ассоциативные образы в сознании носителей языка, зафиксированные в лексикографических источниках» (Желтухина, 2003, с. 297). Исследования в области лингвостилистики, прежде всего «коммуникативно-стилистического воздействия» (*kommunikativer bzw. stilistischer Ausdruckswert*) (Riesel, Schendels; 1975, S. 27) и коннотации, проведенные Э.Г. Ризель и И.Р. Гальпериным, заложили основу для рассмотрения проблематики языкового стиля в когнитивном плане, а именно с выделением двух основных проблем: 1) представления знания (в данном случае – знания эмоциональных и культурных характеристик концептов. – *Н.Т.*) в языковых формах; 2) концептуальной организации знаний в процессах понимания и порождения языковых сообщений (Кубрякова, 2004, с. 59) – в этом случае актуальными для лингвостилистики оказываются проблемы соотнесенности коммуникативной интенции речевого сообщения и прагматического эффекта его восприятия. В сущности, эта же мысль прослеживается в сформулированных М.В. Малинович и Ю.М. Малиновичем трех задачах анализа семантических категорий эгоцентрической ориентации (см. выше): 1) раскрыть их понятийную онтологию; 2) раскрыть их языковую онтологию; 3) раскрыть их иллюкутивную, т.е. воздействующую силу в коммуникативных актах (Малинович, Малинович, 2003, с. 25).

Таким образом, в лингвистической постановке проблемы когнитивного стиля можно выделить два аспекта – парадигматический и синтагматический (см. выше) (далее «парадигматика и синтагматика лингвокогнитивного стиля»).

Прежде чем приступить к рассмотрению этих двух аспектов, необходимо охарактеризовать само понятие когнитивного стиля.

Под когнитивным стилем принято понимать «присущие человеку индивидуально-своеобразные способы переработки информации о своем окружении» (Холодная, 2002, с. 7), «характерные для данной личности устойчивые познавательные предпочтения, проявляющиеся

в преимущественном использовании способов переработки информации – тех способов, которые в наибольшей степени соответствуют психологическим возможностям и склонностям данного человека» (там же, с. 17). Из этих определений следует, что проблема когнитивного стиля относится прежде всего к сфере интересов психологической науки. М.А. Холодная уточняет, что «стилевой подход – это первая в истории психологии попытка анализа особенностей устройства и функционирования индивидуального ума» (там же).

Понятие «стиль» и, соответственно, значение этого термина в психологии прошло три этапа своего становления: 1) стиль рассматривался в контексте психологии личности для описания индивидуального своеобразия способов взаимодействия человека со своим социальным окружением (20–30-е годы XX в.); 2) понятие стиля используется для изучения механизмов индивидуальных различий в способах познания своего окружения – вводится в обращение термин «когнитивные стили», обозначающий индивидуальные особенности восприятия, анализа, категоризации и воспроизведения информации (50–70-е годы XX в.); 3) понятие когнитивного стиля используется расширенно, например, «стиль мышления», «стиль учения», «стиль психической деятельности» и т.д. (80-е годы XX в.) (Холодная, 2002, с. 15–18).

Одной из наиболее острых проблем современной психологии и когнитологии является проблема когнитивных стилей как фактора продуктивности интеллектуальной деятельности. М.А. Холодная приводит противоположные мнения по этому вопросу: физика М. Планка, согласно которому важнейшей целью науки и научного сообщества является полное освобождение физической картины мира от индивидуальности творческого ума, и психолингвиста А.Н. Леонтьева, считавшего сущностной чертой человеческого мышления именно его пристрастность, т.е. обусловленность познавательной деятельности человека его субъективным опытом (эмоциями, целями, ценностями и т.д.) (там же, с. 10).

Содержательное наполнение трех вышеназванных этапов развития понятия «стиль» в психологии может быть соотнесено с концептуальной спецификой трех областей лингвистики, соответственно, с теорией речевых актов (1), лингвокультурологией (2), стилистикой (изучением стиля различных писателей или литературных жанров) (3).

Для лингвостилистики представляется особенно интересной концепция психологов Д. Уорделла и Дж. Ройса (Wardell, Royce, 1978), согласно которой «когнитивные стили в снятом виде содержат

в себе элементы аффективных состояний. Когнитивные стили, таким образом, выступают как высокоорганизованные черты в том смысле, что именно они определяют способ, которым в индивидуальном поведении связываются познавательные способности и эмоциональные свойства личности» (цит. по: Холодная 2002, с. 216).

Уорделл и Дж. Ройс разработали модель интегрированной индивидуальности, в рамках которой стили рассматриваются как посредники, объединяющие когнитивные и эмоциональные свойства субъекта.

Рассмотрение парадигматики лингвокогнитивного стиля непосредственно связано с обращением к двум понятиям: 1) понятию внутреннего ментального лексикона человека как важнейшего механизма когнитивной переработки информации; 2) понятию видов знания, представленного в ментальном лексиконе.

Внутренний ментальный лексикон, разъясняет Е.С. Кубрякова, – это не только «склад» единиц, организованный таким образом, чтобы объяснить поиск и нахождение нужной информации, но скорее действующая система, в которой каждая единица «записана» с инструкцией ее использования. Развиваемая Е.С. Кубряковой концепция внутреннего лексикона и памяти строится не только на признании центральной их единицей слова, но и «на признании особой роли в свойствах слова его номинативного потенциала, его ономаσιологической и семантической структуры, т.е. способности слова репрезентировать и заменять в сознании человека определенный осмысленный им фрагмент действительности, указывать на него, отсылать к нему, возбуждать в мозгу все связанные с ним знания – как языковые, так и неязыковые – и в конечном счете оперировать этим фрагментом действительности в процессах мыслительной и речемыслительной деятельности» (Кубрякова, 2004, с. 68).

Оперативной единицей ментального лексикона, единицей ментальной информации является концепт, – в этом сходятся все исследователи (см. Кубрякова, 1996, с. 90–93; Олянич, 2004, с. 71; Schwarz, 1992, S. 84 и др.). Разнообразие мнений наблюдается по вопросу, какая языковая структура вербализует концепт, – только ли слово? Как отмечает Н.Ф. Алефиренко в книге «Современные проблемы науки о языке», концепт может быть представлен языковым знаком в самом широком его понимании, т.е. словом, фразеологизмом, предложением. «Семантика языкового знака – главный источник знаний о содержании репрезентируемого концепта. Поэтому исследовательский путь от семантики языкового знака к содержа-

нию соответствующего концепта следует считать истинным» (Алефиренко, 2005, с. 183).

Концепты выделяются на основе некоторых признаков, а также предметных действий с объектами, их конечных целей и оценки таких действий, пишет В.А. Маслова в монографии «Введение в когнитивную лингвистику (Маслова, 2004, с. 15). Автор трактует концепт как «совокупность всех смыслов, схваченных словом» (там же, с. 13), в том числе и эмоционально-стилистических, и тех, которые формируются повторяющимися, т.е. типичным контекстом. Типичность же контекста, в котором употребляется вербализованный концепт, определяется спецификой данной национальной культуры и социокультурного пространства в его временной соотнесенности. Неслучайно Н.А. Красавский отмечает, что «само толкование, глубина интерпретации концепта (как правило, вербализованного смысла, живущего в культуре) в значительной степени зависит не только от индивидуальных рефлексивных способностей конкретного индивидуума, но и от его принадлежности к тому или иному социуму (ср. оценочное отношение к концепту “8 Марта” в современном русском и, например, в немецком этносе) или даже к микросоциуму (ср. оценочное отношение представителей российских правоохранительных органов и правозащитников-шестидесятников к русскому концепту “День чекиста”...) Иначе говоря, проникновение в глубинный пласт концепта как когнитивно-культурного конструкта детерминруется спецификой самого определенного временными рамками социокультурного пространства, в котором пребывает человек» (Красавский, 2001, с. 58).

Аналогичную точку зрения высказывают В.И. Карасик: «Концепты являются первичными культурными образованиями, транслируемыми в различные сферы бытия человека» (Карасик, 1996, с. 6), Г.Г. Слышкин («...концепт принадлежит коллективному или индивидуальному сознанию, детерминруется культурой и опредмечивается в языке и / или речи» (Слышкин, 2000, с. 39), З. Шмидт («Семантика языковых форм социально типизирована и образует специфический раздел коллективного знания») (Schmidt, 1994, S. 115).

Несомненный интерес представляет вопрос о соотношении концепта, понятия и значения слова. Так, например, В.А. Маслова, вслед за Ю.С. Степановым, относит к понятиям существенные и необходимые признаки, к концепту же также и несущественные, т.е. концепты семантически сложнее понятий. «Концепт окружен эмоциональным, экспрессивным, оценочным ореолом; он – предмет симпатий и антипатий, а иногда и столкновений различных

мнений» (Маслова, 2004, с. 38). Однако между концептами и понятиями не существует непреходимой границы: при определенных условиях понятия могут переходить в концепты, указывает тот же автор. Так, у М. Цветаевой есть концепт «лестница», который в сознании большинства носителей русской культуры существует в виде понятия. В.А. Маслова считает «концепт», «понятие» и «значение» разными терминами разных областей знания: «...понятие – термин логики и философии, а концепт – математической логики, культурологии, лингвокультурологии, когнитивной лингвистики... Слово ...своим значением всегда представляет лишь часть концепта. Однако получить доступ к концепту лучше всего через средства языка, через слово, через дискурс» (там же, с. 40). Н.А. Красавский делает следующее важное уточнение: «В одном конкретном концепте может быть выражено только одно значение, один ЛСВ (если мы имеем дело с многозначным словом)» (Красавский, 2001, с. 59).

На базе концептуально-типичных контекстов формируются объективные коннотации¹, которые, организуясь вокруг некоторого концепта, создают когнитивную структуру представления знаний, именуемую фреймом. Т.В. Дейк уточняет, что «в противоположность простому набору ассоциаций эти единицы (фреймы. – Н.Т.) содержат основную, типическую и потенциально возможную информацию, которая ассоциирована с тем или иным концептом» (Дейк, 1986, с. 16)² (ср. также точку зрения С.А. Хахаловой: «Образ в ментальном пространстве представляет собой содержание концепта, вокруг которого организован фрейм» (Хахалова, 2003, с. 197). Фрейм обладает более или менее конвенциональной природой и поэтому конкретизирует, что для данной культуры характерно, а что – нет... (Демьянков, 1996, с. 188).

В структуре концепта и фрейма есть компоненты, которые выполняют роль «инструкций по использованию вербализованных концептов» (см. выше): в концепте это стилистические значения, во фрейме – зафиксированные в нем объективные коннотации и типичные ассоциации. Именно эти компоненты задают конвенциональную

¹ Ср. мнение Е.С. Кубряковой, согласно которому «концепты – это скорее посредники между словами и экстралингвистической действительностью» (Кубрякова, 1996, с. 92).

² Е.С. Кубрякова считает, что существуют концепты различного типа (образы, представления, понятия) и что концепты могут объединяться в более сложные структуры, в том числе и во фреймы (а кроме того, в гештальты, схемы, пропозиции и т.п.) (Кубрякова, 2004, с. 57).

оценку ситуации и соответствующее использование / восприятие вербализованных концептов в речевой ситуации, т.е. определяют конвенциональный лингвокогнитивный стиль коммуникации. В этом плане очень точное наблюдение об «авторитарности языка» (*Autorität in Verbindung mit Sprache*) принадлежит У. Фикс: «Авторитарность языка может проявляться двояко: 1) как давление языка на сознание самого отправителя языкового сообщения, т.е. как давление языковых норм и представлений, зафиксированных в языковых выражениях; 2) как давление отправителя языкового сообщения на его получателя, осуществляемое с помощью языка, т.е. как целенаправленное персуазивное воздействие, осуществляемое в целях коммуникативного превосходства» (Fix, 1999; S. 63). Это наблюдение У. Фикс соответствует двум вышеназванным аспектам лингвокогнитивного стиля – парадигматическому и синтагматическому.

Обратимся теперь к понятию знания, представленного в ментальном лексиконе и поэтому существенного для рассмотрения парадигматического аспекта лингвокогнитивного стиля. Как подчеркивает Н.Ф. Алефиренко, знание является особым объектом в лингвокогнитивном исследовании, «поскольку в ценностно-коммуникативных системах, организующих сознательную деятельность человека, знание играет ведущую роль» (Алефиренко, 2005, с. 175).

На сегодняшний день среди специалистов нет единства мнений по вопросу, сколько же существует видов знания и как они соотносятся друг с другом. Так, Е.С. Кубрякова разделяет знание на языковое и объектное (Кубрякова, 2004, с. 10), т.е. противопоставляет прежде всего знание о языке и знание о мире (аналогичной точки зрения придерживается и Н.Ф. Алефиренко (Алефиренко, 2005, с. 179). При этом Е.С. Кубрякова не отрицает того, что первое входит составной частью во второе. Ср. мнение З. Шмидта: «Общее знание является в значительной степени языковым, а языковое – общим» (Schmidt, 1994, S. 115). Под «общим знанием» имеется в виду так называемое прагматическое, т.е. повседневное и энциклопедическое знание. Кроме того, З. Шмидт называет следующие виды знания: знание, необходимое для структурирования содержания сообщения на «новое» и «известное»; иллюкутивное знание; процессуальное знание; знание типов текста (ebd., S. 127–128). В. Левельт различает семантическое, фонологическое и прагматическое знание (точнее, он пишет об информации, представленной в слове) (цит. по: Кубрякова, 2004, с. 385). По мнению Н.Н. Трошиной, в единицах ментального лексикона представлено энциклопедическое, языковое и интеракциональное знание. Под послед-

ним понимается коммуникативно-прагматическая, или стилистическая, компетенция, которая играет особо важную роль в речевой коммуникации, обеспечивая стыковку энциклопедического и языкового знания (Troschina, 1995, S. 96–97). С.А. Хахалова подчеркивает, что М. Минский позиционирует языковое знание в специальных лингвистических слотах фреймов (Хахалова, 2003, с. 198).

Знание формируется в системе исторически сложившегося этнокультурного сознания, упорядоченного с помощью той или иной системы ценностей (Алефиренко, 2005, с. 176). При этом знание, прежде всего знание о мире, или энциклопедическое знание, которым обладает данная личность, может в различной степени определяться социокультурными стереотипами, когнитивными метафорами, мифологемами и идеологемами, т.е. теми когнитивными структурами, в которых наиболее явно прослеживается оценочно-стилистическая направленность знания.

Стереотипизация – это глубинный процесс, в форме которого человек структурирует мир в своем мышлении и одновременно вербализует этот мир. Поэтому, указывает Е.Н. Кукушкина (Кукушкина, 1984), образование стереотипов есть основа связи языка и опыта, своего рода призма, в которой происходит преломление в виде идеальной схемы, которая сложилась в результате работы определенным образом направленного воображения. Эта направленность достигается тем, что из общей картины мира выделяется один из информационных элементов, типологизируется до предела, а затем облекается в языковые формы, которые по своим ценностным характеристикам максимально приближаются к культуре реципиента. Благодаря подаче такой препарированной, ценностно ориентированной информации осуществляется воздействие на сознание реципиента.

Как подчеркивает В. Красных, стереотипы языкового сознания хранятся в ассоциативно-вербальной сети в виде фреймов, структура которых обусловлена предсказуемыми «векторами направленных ассоциаций» (Красных, 2002, с. 189).

Стереотипы языкового сознания специфически важны для идеологически ориентированного, например, тоталитарного дискурса, основной задачей которого является формирование готовых моделей поведения и схем интерпретаций, используемых членами данного лингвокультурного сообщества как в устной, так и в письменной речевой коммуникации (ср. наблюдение Е.Н. Кукушкиной об участии языка в формировании новых образов действительности, т.е. об осуществ-

влении им функции опережающего отражения, которое обеспечивает благодаря стереотипизации (Кукушкина, 1984)).

При анализе тоталитарного текста (термин Г. Почепцова) (Почепцов, 1994, с. 126) продуктивно используется когнитивный подход к феномену стиля, особенно в сочетании с теорией дискурса¹. Именно такой подход представлен в широко известных работах В. Клемперера «ЛТИ. Язык Третьего рейха: Записная книжка филолога» (перевод с немецкого Клемперер, 1998), У. Фикс и Д. Барц («Языковые биографии») (Fix, Barz, 2000), Г. Почепцова «Тоталитарный человек» (Почепцов, 1994), Н.А. Купиной «Тоталитарный язык» (Купина, 1995) и мн. др.

Главной целью тоталитарного дискурса является порождение единомыслия. Он «принципиально не является текстом как бы индивидуального использования, он вовлечен в сферу коллективного чтения» (Почепцов, 1994, с. 131). Наиболее яркими признаками тоталитарного текста являются прототипичность, лакировка действительности, «принципиальное сужение мира до требуемых образцов поведения» (там же, с. 132).

Использование в тоталитарном тексте языковых стереотипов, формул и клише создает свой мир, некую систему, в которой реципиент ориентируется на определенные опорные слова и сгруппированные вокруг них языковые средства (Troschina, 1995, s. 95). При этом, отмечает Г. Почепцов, вербальная модель мира оказывается важнее реального мира, в котором важные для него тексты представлены многократно. «Так, воспоминания Брежнева не только прошли все средства массовой коммуникации, но даже попали на сцену Донецкого театра оперы и балета. Свои объекты в своей питательной среде размножаются в невиданном количестве экземпляров: кипы книг издавались Политиздатом, тексты инициировались к изданию школьной программой, фильмы и спектакли повторяли этих героев в визуальной форме» (Почепцов, 1994, с. 14).

Жесткая когнитивная направленность тоталитарного дискурса, его мифологизированность обеспечиваются также широким использованием концептуальных метафор (например, «человек – винтик общества») как способом репрезентации знаний в языковой форме: «...в метафорических представлениях происходит перенос концептуализации наблюдаемого мыслительного пространства на

¹ Следует отметить, что вопросы когнитивного представления дискурса и способов его контекстуальной организации входят в круг широко обсуждаемых проблем в современной отечественной и зарубежной лингвистике. – Н.Т.

непосредственно ненаблюдаемое, которое в этом процессе концептуализируется и включается в общую концептуальную систему данной языковой общности. При этом одно и то же мыслительное пространство может быть представлено посредством одной или нескольких концептуальных метафор» (Лузина, 1996, с. 55). (Более подробно о концептуальной / когнитивной метафоре см.: Опарина, 1990). «Метафоричность тоталитаризма в первую очередь связана с тем, что у него была принципиально смещена базисная структура, — пишет Г. Почепцов, — он весь либо в прошлом, либо будущем» (Почепцов, 1994, с. 102) («Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!», «Мы наш, мы новый мир построим!»), причем как прошлое, так и будущее трактуется только в оптимистических тонах, т.е. лингвокогнитивный стиль текстов подчеркнуто позитивный. Такой стиль навязывает трактовку любых негативных событий как исключений из правила, что вполне соответствует идеологической задаче, стоящей перед тоталитарным текстом: «Модель оптимизма как побеждающего ситуацию является весьма выгодной для коллективной идеологии» (там же, с. 79).

Предписанный идеологией взгляд на мир определяет специфику использования языковых и интеракционных знаний, диктует отбор языковых средств, прежде всего стилистически окрашенных. Стилистическая коммуникативная компетенция оказывается исключительно важной для функционирования тоталитарного дискурса, так как язык власти строится не по стандартной схеме знака, где денотация первична, а коннотация вторична. «Пропаганда, наоборот, работает в сфере коннотации, для нее вторичным оказывается основное — денотация... Пропаганда строится на ассоциации идей, а не на рассмотрении фактов» (там же, с. 105).

Использование стилистически гомогенных языковых средств позволяет выстроить систему тоталитарных идеологем и мифологем. Идеологемой является выраженное средствами языка определенное предписанное утверждение, отражающее установку официальной идеологии. Мифологема представляет собой «устойчивое состояние общественного сознания... в котором зафиксированы каноны описания существующего порядка вещей и сами описания того, что существует и имеет право на существование» (Мифологемы, www.) Следует отметить отсутствие четкой границы между идеологемами и мифологемами. Об этом свидетельствует, например, то, что в специальной литературе одни и те же концепты относятся и к идеологемам, и к мифологемам, так, например, В.М. Шаклеин относит концепт врага к

идеологемам (наряду с идеологемами заговора, разоблачения, борьбы, твердой руки, безальтернативности выбора и др.) (Шаклеин, 1998), а Г. Почепцов – к мифологемам (наряду с мифологемами войны, страха, жертвы) (Почепцов, 1994, с. 45). В идеологизированном дискурсе мифологема / идеологема связаны друг с другом, что Г. Почепцов квалифицирует как наличие «общих силовых линий», в рамках которых выстраивается модель мира (там же).

Результативность когнитивно-дискурсивного подхода в процессе анализа речевой коммуникации зависит от учета стилевой специфики культуры, в рамках которой создавался / создается исследуемый дискурс, поскольку именно в стилевой дифференциации культуры проявляется степень когнитивной свободы языковой личности.

Термин «стилевая дифференциация культуры» принадлежит немецкому философу и социологу Г. Зиммелю (Simmel, 1908). Под этим Г. Зиммель понимал стилевое разнообразие окружающих нас предметов и считал стилевую дифференциацию следствием прихода капиталистического духа. Современный российский культуролог Л.Г. Ионин видит в дифференциации стилей одну из сторон глобального процесса перехода от моностилистической культуры к полистилистической. Опираясь на понятие культуры в значении «репрезентативной культуры» по Ф. Тенбруку¹, Л.Г. Ионин характеризует культуру как моностилистическую в том случае, «если ее элементы (убеждения, оценки, образы мира, идеологии и т.д.) обладают внутренней связностью и, кроме того, активно разделяются либо пассивно принимаются всеми членами общества» (Ионин, 1996, с. 181). Такая культурная система представляет собой универсальную схему интерпретации всех феноменов, реально существующих или потенциально возможных в данном обществе. Для этого одни явления исключаются из рассмотрения как чуждые, другие намеренно упрощаются и подгоняются под принятые когнитивные схемы и принципы организации дискурса. Существует также определенная иерархия экспрессивных средств культуры, которая жестко предписывает соотнесение содержания и формы. Полистилистическая культура характеризуется отсутствием такой иерархии;

¹ Культура является общественным фактом постольку, поскольку она является репрезентативной культурой, т.е. производит идеи, значения и ценности, которые действенны в силу их фактического признания. Она охватывает все верования, представления, мировоззрения, идеи и идеологии, которые воздействуют на социальное поведение, поскольку они либо активно разделяются людьми, либо пользуются пассивным признанием» (Tenbruck, 1990, S. 29).

отсутствием сакрального доктринального ядра; концептуальной терпимостью, обуславливающей более свободную организацию дискурса (о социокультурных параметрах дискурса см. подробнее: Трошина, 2004; Totalitdre Sprachen, 1995).

Перспективность когнитивно-дискурсивного подхода обнаруживает себя при анализе речевого воздействия в различных сферах, но прежде всего в сфере СМИ. В этом плане много точных наблюдений содержится в монографии М.Р. Желтухиной «Тропологическая суггестивность масс-медиального дискурса: о проблеме речевого воздействия тропов в языке СМИ» (Желтухина, 2003), в которой подробно рассматриваются фреймовые трансформации (рефрейминг) как механизмы воздействия на сознание адресата речевого сообщения: изменение размеров фрейма (расширение и сужение контекста и содержания), наложение слотов, свертывание фрейма к одному слоту / нескольким слотам и т.д.

В заключение обзора подведем основные итоги рассмотрения представленных концепций. 1. Введение в парадигму современной лингвистики понятия языковой личности создало необходимые предпосылки для анализа когнитивного аспекта стиля (лингвокогнитивного стиля). 2. Целесообразно различать два аспекта лингвокогнитивного стиля: а) парадигматический, т.е. совокупность лингвостилистических параметров концептов, фреймов и других структур представления знаний; б) синтагматический, т.е. взаимодействие этих параметров в процессе реализации коммуникативной стратегии с целью получения желаемого персуазивного эффекта. 3. Социокультурный анализ дискурса создает необходимые предпосылки для контекстуального анализа языковых единиц и – на этой базе – для анализа содержания структур представления знаний. 4. Эмоциональные значения слова есть результат эмоционального освоения человеком соответствующих фрагментов действительности, так как в процессе познания непременно участвуют человеческие эмоции, которые также получают отражение в структурах представления знаний. 5. Стилистические параметры концептов, объективные коннотации и культуротипичные ассоциации, зафиксированные в структуре фреймов, определяют конвенциональную оценку коммуникативной ситуации и соответствующее использование / восприятие вербализованных концептов в речевой ситуации, т.е. определяют лингвокогнитивный стиль. 6. Среди различных видов знания особо важная роль в речевой коммуникации принадлежит интеракционному знанию, так как оно обеспечивает взаи-

модействие энциклопедического и языкового знания. 7. Оценочно-стилевая направленность знания наиболее явно представлена в стереотипах, концептуальных метафорах, мифологемах и идеологемах, что особенно ярко проявляется в тоталитарном дискурсе. 8. Когнитивно-дискурсивный подход к анализу произведений речевой коммуникации предполагает обязательный учет стилиевой специфики культуры (моностилистической или полистилистической), в рамках которой создан / создается исследуемый дискурс. 9. Стилиевая специфика культуры определяет степень когнитивной свободы языковой личности.

Список литературы

- Алефиренко Н.Ф.* Современные проблемы науки о языке. – М., 2005. – 416 с.
- Балли Ш.* Французская стилистика / Пер. с фр. Долинина К.А. – М., 1961. – 394 с.
- Гальперин И.Р.* О принципах семантического анализа стилистически маркированных отрезков текста // Принципы и методы семантических исследований. – М., 1996. – С. 267–290.
- Дейк Т.А.ван* Язык. Познавание. Коммуникация. – М., 1989. – 311 с.
- Демьянков В.З.* Фрейм (frame) // Краткий словарь когнитивных терминов / Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Р. – М., 1996. – С. 187–189.
- Желтухина М.Р.* Тропологическая суггестивность масс-медиального дискурса: О проблеме речевого воздействия тропов в языке СМИ. – М.; Волгоград, 2003. – 655 с.
- Ионин Л.Г.* Социология культуры. – М., 1996. – 280 с.
- Карасик В.И.* Культурные доминанты в языке // Языковая личность: Культурные концепты. – Волгоград, 1996. – С.3–16.
- Караулов Ю.Н.* Предисловие: Русская языковая личность и задачи ее изучения // Язык и личность. – М., 1989. – С. 3–8.
- Караулов Ю.Н.* «Четыре кита» современной лингвистики, или Предпосылки включения «языковой личности» в объект науки о языке: (От содержания науки к ее истории) // Соотношение частнонаучных методов и методологии в филологической науке: Сб. науч. тр. АН СССР. Центр. совет филос. (методол.) семинаров при Президиуме АН СССР / Отв. ред. Володин Э.Ф., Нерознак В.П. – М., 1986. – С. 33–52.
- Клемперер В.* ЛТИ. Язык Третьего рейха: Записная книжка филолога / Пер. с нем. Григорьева А.Б. – М., 1998. – 384 с.
- Колианский Г.В.* Некоторые вопросы семантики языка в гносеологическом аспекте // Принципы и методы семантических исследований. – М., 1976. – С. 5–331.
- Коробов М.В.* Категория коммуникативной тональности // Языковая личность: Проблемы обозначения и понимания. – Волгоград, 1997. – С. 78–79.

- Красавский Н.А.* Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах. – Волгоград, 2001. – 495 с.
- Красных В.В.* Этнопсихоллингвистика и лингвокультурология. – М., 2002. – 238 с.
- Кубрякова Е.С.* Концепт (concept; Konzept) // Краткий словарь когнитивных терминов / Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. – М., 1996. – С. 90–93.
- Кубрякова Е.С.* Части речи в ономаσιологическом освещении. – М., 1978. – 115 с.
- Кубрякова Е.С.* Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века: (Опыт парадигмального анализа) // Язык и наука конца XX века. – М., 1995. – С. 144–238.
- Кубрякова Е.С.* Язык и знание: На пути получения знаний о языке. Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. – М., 2004. – 560 с. – (Язык. Семиотика. Культура).
- Кукушкина Е.И.* Познание. Язык. Культура: (Некоторые гносеологические и социологические аспекты проблемы). – М., 1984. – 263 с.
- Купина Н.А.* Тоталитарный язык: Словарные и речевые реакции. – Екатеринбург; Пермь, 1995. – 143 с.
- Лузина Л.Г.* Когнитивная метафора (син. Концептуальная метафора; cognitive / conceptual metaphor) // Краткий словарь когнитивных терминов / Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. – М., 1996. – С. 55–56.
- Малинович Ю.М., Малинович М.В.* Антропологическая лингвистика как интегральная наука // Антропологическая лингвистика: Концепты. Категории. – М.; Иркутск, 2003. – С. 7–28.
- Маслова В.А.* Введение в когнитивную лингвистику. – М., 2004. – 296 с.
- Мифологемы и идеологемы.* – Режим доступа: <http://www.nns.ru/analytdoc/simon2/html>
- Олянич А.В.* Презентационная теория дискурса. – Волгоград, 2004. – 506 с.
- Опарина Е.О.* Концептуальная метафора и ее функции в языке: (На примере субстантивных метафор): Дисс... канд. филол. наук. – М., 1990. – 169 с.
- Почепцов Г.* Тоталитарный язык: Очерки тоталитарного символизма и мифологии. – Киев, 1996. – 225 с.
- Ризель Э.Г.* Стилистическое значение и коннотация // Лингвистические проблемы текста. – М., 1980. – С. 134–143.
- Слышкин Г.Г.* Дискурс и концепт: (О лингвокультурном подходе к изучению дискурса) // Языковая личность: Институциональный и персональный дискурс. – Волгоград, 2000. – С. 38–45.
- Трошина Н.Н.* Социокультурные параметры дискурса // Социоллингвистика вчера и сегодня: Сб. обзоров. – М., 2004. – С. 107–131.
- Хахалова С.А.* Концептосфера личной пристрастности // Антропологическая лингвистика: Концепты. Категории. – М., 2003. – С. 195–228.

- Холодная М.А.* Когнитивные стили: О природе индивидуального ума. – М., 2002. – 304 с.
- Шаклеин В.М.* Идеологемы современного русского языка XX века – суть русского языкового сознания // *Языковая личность: Система, нормы, стиль.* – Волгоград, 1998. – С. 118–119.
- Шаховский В.И.* Эмоциональная / эмотивная компетенция в межкультурной коммуникации: (Есть ли неэмоциональные концепты?) // *Аксиологическая лингвистика: Проблемы изучения культурных концептов и этносознания.* – Волгоград, 2002. – С. 3–10.
- Шаховский В.И., Сорокин Ю.А., Томашева И.В.* Текст и его когнитивно-эмотивные метаморфозы: (Межкультурное понимание и лингвоэкология). – Волгоград, 1998. – 148 с.
- Fix U.* Autorität als Topos: Verweigerung u. Anerkennung von Sprachautorität unter den Kommunikationsbedingungen der DDR // *Autorität der/ in der Sprache, Literatur, Neuen Medien: Vortr. des Bonner Germanistentages 1997.* – Bielefeld, 1999. – Bd I. – S. 59–78.
- Fix U., Barz D.* Sprachbiographien: Sprache u. Sprachgebrauch vor u. nach der Wende von 1989 im Erinnern und Erleben von Zeitzeugen aus der DDR: Inhalte u. Analysen narrative-diskursiver Interviews / Unter Mitarb. von Beyer Fr. – Frankfurt a.M., 2000. – 719 S.
- Riesele E., Schendels E.* Deutsche Stilistik. – Moskau, 1975. – 316 S.
- Schmidt S.J.* Kognitive Autonomie und soziale Orientierung: Konstruktivistische Bemerkungen zum Zusammenhang von Kognition, Kommunikation, Medien u. Kultur. – Frankfurt a. M., 1994. – 362 S.
- Schwarz M.* Einführung in die kognitive Linguistik. – Tübingen, 1992. – 219 S.
- Simmel G.* Soziologie: Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung. – Leipzig, 1908. – 782 S.
- Tenbruck F.H.* Repräsentative Kultur // *Sozialstruktur und Kultur.* – Frankfurt a. M., 1990. – S. 29.
- Totalitäre Sprachen – Langue de bois – Language of dictatorship/* Hrsg. Wodak R., Kirsch F.P. – Wien, 1995. – 268 S.
- Troschina N.* Kommunikativer Kontext und stilistische Frames // *Totalitäre Sprachen – Langue de bois – Language of dictatorship.* – Wien, 1995. – S. 71–104.
- Wardell D.M., Royce J.R.* Toward a multi-factor theory of styles and their relationship to cognition and affect // *J. of personality.* – Durham, 1978. – Vol. 46 (3). – P. 474–505.

3.А. Харитончик

**ПРОБЛЕМЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ:
(15 ЛЕТ СПУСТЯ)**

Следуя импульсу, заданному в 70–80-е годы (см. подробнее: Теория грамматики: Морфология и словообразование, 1992), 90-е годы ушедшего столетия и начало нового, XXI в., ознаменовались продолжением активной разработки поднятых ранее проблем морфологии. Прямым свидетельством этого являются многочисленные международные конференции, публикация международного ежегодного морфологического альманаха (*Yearbook of Morphology* 1991, 1993, 1994, 1995, etc.), появление объемных учебников по морфологии (*The handbook of morphology*, 1998), образующие, однако, лишь незначительную часть огромного айсберга морфологических изысканий данного времени. Взрыв интереса к собственно морфологии, как образно охарактеризовал предшествующие десятилетия С. Андерсон (Anderson, 1992, р. 8), активная дискуссия, развернувшаяся между «лексикалистами» и «трансформационалистами» в поиске адекватного формализованного описания языка, – все это повлекло за собой появление и в последующие годы огромного числа трудов по морфологии и обусловило тот факт, что и этот период оказался не менее плодотворным, чем предшествующий. Более того, можно с уверенностью сказать, что накопление информации привело к формированию серьезной теоретической базы, а это, в свою очередь, явилось предпосылкой для создания в зарубежной лингвистике целого ряда оригинальных концепций, в которых были предложены те или иные решения поставленных проблем.

Одновременно теория как флективной, так и деривационной морфологии не могла остаться в стороне от ставших общепризнанны-

ми новых парадигм лингвистического знания, испытав прежде всего серьезное влияние когнитивной лингвистики. Таким образом, дальнейшее обсуждение кардинальных проблем морфологии и ее места в общей модели языка, соотношения морфологии с лексиконом и синтаксисом и т.д., с одной стороны, и взгляд на морфологическую систему с когнитивных позиций – с другой, составили, по нашему мнению, две главные линии в изучении этого важнейшего участка языка в зарубежных штудиях, дополняемых сопоставительно-типологическими исследованиями (*Komparacja wspolczesnych jezykow slowianskich/ Słowotwórstwo. Nominacja*, 2003; Walther, 1999; *Wortbildung: interaktiv im Sprachsystem – interdisziplinär als Forschungsgegenstand*, 2000 и др.) и частными описаниями флективных и словообразовательных систем конкретных языков (Don, 1993; Eichinger, 1994; *Experimentelle Studien zur deutschen Flexionsmorphologie*, 1989; Fleischer, Barz, 1992; Jelitte, 1992; Kleszczowa, 1998; Novak, 1996; Ruf, 1996; Ытекauer, 1996; Ытекauer, 1998; Wickens, 1992 и т.д.). Осмысление, особенно в рамках генеративной грамматики, предшествующего опыта описания морфологической подсистемы языковых систем, знакомство с европейской традицией анализа морфологических явлений, «включение в сферу своих интересов материала самых разных языков привели лингвистов, работающих в ключе генеративной грамматики, к более четкому пониманию соотношения морфологии и лексикона, морфологии и фонологии, морфологии и синтаксиса. Обсуждение этих важнейших для генеративистских построений проблем в многочисленных трудах, разработка корреляции фонологической и морфологической структур, создание концепции автосегментной фонологии и нецепочечной морфологии, предлагающей некоторые способы описания таких нецепочечных явлений, как спряжение в арабском, тон в африканских и американских языках, привнесение в морфологические описания понятий ядра, аргументных структур предикатов и тематических ролей, значительно расширивших возможности интерпретации соотношения сложных слов и словосочетаний, использование синтаксических правил квантификации и картирования, формирование семантических подходов к морфологии, влияние естественной морфологии Дресслера, Майерталера и Вурцеля (см. их детальный анализ в: Anderson, 1992; Beard, 1995; Carstairs-McCarthy, 1992; Fradin, 2003; Spencer, 1991, etc.) принесли свои результаты.

В отличие от стратификационной морфологии, морфологии слова и парадигмы, синтаксиса слова и некоторых других концепций, развиваемых в рамках генеративной грамматики и концентрировав-

ших свое внимание на решении, как пишет Р. Бирд, в основном, двух проблем: есть ли у слов внутренняя структура и являются ли ее составляющие лексическими единицами, в центре лингвистического поиска стали следующие фундаментальные для морфологии вопросы: 1) какие единицы – морфемы, как лексические, так и грамматические, или же лексемы и грамматические морфемы – являются основными элементами языковой системы?; 2) как соотносятся друг с другом на каждом из соответствующих уровней фонологические, грамматические и семантические репрезентации основных грамматических элементов?; 3) существует только одна морфология, интегрирующая словоизменение и словообразование, или две: морфология словоизменения (флективная) и морфология словообразования (деривационная)?; 4) что представляют собой морфологические категории, какова их природа и чем обусловлено их число, как соотносятся между собой словоизменятельные и словообразовательные категории?; 5) что представляют собой морфологические правила: являются ли они операциями синтаксиса или же это правила алломорфного варьирования и лексического заполнения?; 6) какие требуются модификации синтаксической теории для включения в нее морфологии? (Beard, 1995, p. 14–15).

Негативное влияние первоначальных версий генеративной грамматики, в которой морфологии из-за целого ряда нерешенных проблем, вызванных морфологической асимметрией, трудностями определения слова, неопределенностью статуса морфем как знаковых единиц, сложностью описания нулевых и пустых морфем и другими факторами, фактически не нашлось места, под влиянием трудов С. Андерсона, М. Ароноффа, Р. Бирда, А. Спенсера, М. Халле и многих других оказалось преодоленным. Изучение структуры слова и отражения в ней связей с другими словами как внутри более сложных конструкций типа предложения, так и в словарном составе языка (Anderson 1992, p. 7) вновь, как и в традиционной лингвистике, стало восприниматься как неотъемлемая и необходимая для понимания механизмов языка область исследований, а морфология как наука заняла свое законное и значимое, как указывает С. Андерсон (Anderson 1992, p. 8), место среди областей лингвистического знания. Не менее радикальные изменения произошли и в определении основной единицы языка. Полемика, развернувшаяся под влиянием европейской лингвистической традиции, в которой основной языковой единицей признавалось слово, с последователями Л. Блумфильда, которые в качестве таковой считают только морфему с ее незначитель-

ными лексическими и грамматическими вариантами (см., например, Beard, 1995, Swiggers, 1998), повлекла за собой отказ от теорий, в которых в качестве исходной точки принимался список морфем в разных их интерпретациях – как сущностей, участвующих в процессах аффиксации, словосложения и т.д., или же как правил, в которых доминирующими являются операции над морфемами. Критике подверглась и трактовка лексем и аффиксов как единиц одного класса, развиваемая, например, в гипотезе лексической морфемы Р. Либера. «Amorphous Morphology» «Морфология без морфем» – так называет свой фундаментальный труд С. Андерсон (Anderson, 1992), мотивируя данный выбор названия тем, что морфология в его понимании направлена на исследование отношений между **словами**, а не дискретными минимальными значащими единицами, из которых конструируются комплексные слова, и именно слово является объектом анализа в морфологии (Anderson, 1992, p. 17). Ему вторит Р. Бирд в своей книге «Lexeme-morpheme base morphology: A general theory of inflection and word formation» – «Лексемно-морфемная морфология. Общая теория словоизменения и словообразования», подчеркивая, что морфология занимается изучением слова – центральной единицы языка и взаимосвязью в нем звуковой стороны и значения (Beard, 1995, p. 1). Он демонстрирует кардинальные семантические и функциональные различия между аффиксальными морфемами и лексемами – прототипическими лексическими единицами, состоящими из ненулевых взаимообусловленных фонологических, грамматических и семантических репрезентаций, относящимися к трем главным классам (именам существительным, глаголам и именам прилагательным) и формирующими на синхронном срезе открытые множества. На этом основании автор делает вывод, что успешная грамматическая теория должна основываться на двух типах единиц – дискретных лексемах и грамматических морфемах, причем последние не должны включаться в лексикон. Анализируя теории типа предложенной Р. Либера (Lieber, 1992), Р. Бирд вскрывает неспособность этих теорий описать и объяснить существующие в языках нулевые, пустые и полифункциональные аффиксы, явления конверсии, редупликации и др.

Разграничение лексем и грамматических морфем предполагает их различие в плане выражения ими значения. Лексемы направлены на прямое и непосредственное выражение значения в звуке. Грамматические морфемы, напротив, связаны с выражением значения опосредованно, в зависимости от контекста, парадигматически. В этом аспекте словообразовательные морфемы не обнаруживают

кардинальных отличий от словоизменительных, и во многих языках мира наиболее продуктивные аффиксы выполняют функции как словообразования, так и словоизменения.

Разграничение аффиксальных морфем и прототипических лексем является отправной точкой для предложенного Р. Бирдом построения общей генеративной грамматической модели, включающей четыре автономных модуля: синтаксис, лексикон, морфологию и фонологию, которые, вероятно, по мысли Р. Бирда, сохраняют этот порядок и в своем действии. Разные по типу единицы относятся соответственно к разным модулям. Лексемы хранятся в лексиконе. Связанные грамматические морфемы определяются как модификации фонологической формы лексем, маркирующие, выражающие, реализующие и приписывающие те же грамматические категории (лексические и синтаксические), что и свободные грамматические морфемы, трактуемые как независимые единицы, требующие определенных синтаксических позиций, и хранятся в независимом морфологическом компоненте.

Мысль о морфологии как автономном модуле грамматики разделяется и А. Спенсером. Подвергнув тщательному анализу базовые концепты морфологии и подходы к решению морфологических проблем, предшествовавшие генеративным разработкам, рассмотрев установившуюся в лингвистической традиции морфологическую классификацию языков и раскрыв ее существенные недостатки, подвергнув критике понятие морфемы, которая должна, по мнению автора, определяться в терминах конститuentов слова и отношений между словоформами, а не с позиции значения как минимальная значимая форма, продемонстрировав разнообразие и трудности определения слова и лексикона, А. Спенсер делает следующий вывод. Морфология, по его мнению, представляет собой интерфейс между различными компонентами грамматики: *лексиконом*, включающим список лексем, идиом, идиосинкретических словоформ, *синтаксисом* с его глубиной и поверхностными структурами, теорией управления и связывания, принципом пустых категорий, *фонологией*, охватывающей и просодические домены. С морфологией сопряжены деривационная морфология, парадигматическое словообразование, лексическое словосложение, инкорпорирование, синтаксическое словосложение, регулярные флексии, пассивные конструкции и т.д. (Spencer, 1991).

Несколько более осторожно формулирует тезис о независимом морфологическом компоненте М. Аронофф, который пишет: «Certain delimited aspects of morphology **can and should** be viewed as an autonomous part of grammar» – «Некоторые выделенные аспекты

морфологии **могут и должны** рассматриваться как автономная часть грамматики» (Agonoff, 1994, р. XIV) (выделено нами. – З.Х.; здесь и далее перевод наш. – З.Х.).

Таким образом, подчеркивая тесную связь морфологии с другими компонентами грамматики, прежде всего с синтаксисом, генеративисты пришли к заключению, что морфология, как подчеркивал в своем докладе на 17 Международном конгрессе лингвистов в Праге С. Андерсон, действительно имеет свою собственную природу, отличную от синтаксиса (Anderson, 2003, р. 43). Вместо классической трактовки морфологии как просто комбинаторного синтаксиса морфем была предложена интерпретация морфологии как «системы, которая описывает отношения между структурными типами слов в терминах способов реализации словоформами свойств, составляющих их значение» (Anderson, 2003, р. 39). Отметим еще раз, что в основе этой интерпретации и признания морфологии как самостоятельного модуля грамматики с собственным набором принципов, репрезентаций и условий правильности лежит анализ слова как лексемы, словоформы, морфосинтаксической или фонологической единицы.

По-видимому, не будет преувеличением сказать, что новое видение места морфологии в полном формальном описании языка, формат которого задается в современном языкознании генеративной лингвистикой, обусловлено переходом американских лингвистов, работающих в русле генеративной грамматики, на позиции признания также и того факта, давно разделяемого отечественной лингвистикой (см., например: Земская, Кубрякова, 1978; ср. также работы европейских лингвистов (*Perspektiven der Wortbildungsforschung*, 1977 и др.)), что структура слова есть конечный продукт взаимодействия фонологических, синтаксических, семантических закономерностей в дополнение к тем, которые действуют внутри лексикона.

Подчеркнем, что в основе этого перехода лежало осознание слова как центральной единицы языка (ср. анализ морфологических концепций генеративистов, предложенный Х. Шультинком, Schultink, 1998). Благодаря этому произошло, как нам кажется, сближение европейской и американской традиций и школ в понимании классических проблем морфологического анализа, что, несомненно, должно было способствовать успешному их решению.

Еще одной важной чертой морфологических построений в генеративных разработках последнего времени стала так называемая тенденция к раздельности описания (*Separation Hypothesis*) процессов,

в которых участвуют связанные морфемы. Как указывает один из активных сторонников и разработчиков данного подхода Р. Бирд (Beard, 1995, р. 43–69), не существует прямой связи между той стороной морфологии, которая имеет дело со звуком, и теми сторонами, которые имеют дело с синтаксисом. Это дает ему основание рассматривать лексическую и флективную деривацию, «работающих» на лексикон и синтаксис, с одной стороны, и, с другой – разные фонологические и морфонологические явления типа просодического варьирования (например, *survey* «обозревать, осматривать» – *survey* «обозрение, осмотр»), изменения гласных в корне слова (*write* «писать» – *wrote* «писал») и т.д. как независимые процессы, условия, действия которых радикально не совпадают. Для описания последних и тем самым обеспечения способности порождающей модели языка отразить необходимые модификации фонологических форм лексем он предлагает ввести в модель грамматики механизм морфологического переписывания, состоящий из восьми шагов, который снабжен помимо операций переписывания читающим устройством и памятью.

Естественно, что ни одна серьезная морфологическая теория не может обойти и центральный вопрос морфологии о ставшем общепринятым разграничении словообразования и словоизменения, или в терминологии многих зарубежных ученых, флективной и деривационной морфологии. Получив богатое наследие предшествующих десятилетий, в течение которых, однако, так и не было найдено твердое научное обоснование определения границ между данными областями морфологии (см.: Харитончик, 1992, с. 33–55), лингвисты продолжают анализировать сходства и различия этих двух морфологических подсистем, отмечая обязательность (автоматичность), нерекурсивность (весь набор грамматических значений присваивается исходной единице в ходе одноразовой операции), возможность блокировки в различных стилях и при афазиях и т.д. словоизменительных процессов и рекурсивность, отсутствие блокировки, иное фонологическое оформление, направленность эволюции словообразовательных аффиксов в сторону флексий и другие особенности словообразования (Miller, 1993, р. 3–8). Подчеркивая недостаточность всех ранее применяемых критериев: изменения или неизменяемости синтаксического класса производящей базы, присоединения к базе или к аффиксам, различий в степени продуктивности, наличия / отсутствия идиоматичности, т.е. отсутствия сильных нерегулярностей в семантике как результат действия флективных правил (Hacken, 1994, р. 186), ученые ищут пути преодоления трудностей

разделения словообразования и словоизменения. Интересны в этом плане предлагаемые Р. Бирдом критерии произвольности, суть которого заключается в том, что категории лексикона произвольны по отношению к синтаксису, и тест свободных аналогов (Free Analog Test), в основе которого лежит маркированность синтаксических и соответственно словоизменительных категорий с помощью свободных морфем. Применяя их, автор устанавливает словоизменительный характер категорий согласования, падежа, модальности, наклонения, вида, залога, времени, лица и словообразовательную природу категорий рода, склонения, переходности и других в разных языках (Beard, 1995, p. 97–154) (ср. Aronoff, 1994).

Различия между словоизменением и словообразованием имеют свои проявления не только в грамматической системе языка, но приобретают определенный психологический и неврологический статус, что в свою очередь определяет различия в их усвоении (Miller, 1993, p. 8–9). Важно также подчеркнуть культурную релевантность, или детерминированность флективных и словоизменительных категорий, что означает свободу выбора конкретным языком способов выражения тех или иных значений с помощью флективной или же, наоборот, деривационной морфологии.

Одновременно с поиском критериев для разграничения словоизменения и словообразования, разработкой ряда формальных процедур, которые, как пишет П. тен Хакен, «должны удовлетворять любые лингвистические потребности и в то же время быть достаточно жесткими, с целью использования в программах обработки естественного языка» (Hacken, 1994, p. 5), все чаще проводится мысль об отсутствии абсолютных границ между словоизменением и словообразованием, о размытости границ между этими двумя участками морфологической системы языка. «Мы имеем дело с континуумом от чистой флексии к чистой деривации и спорными случаями посередине», – к такому выводу приходит М. Хаспелмат в результате анализа флексий, изменяющих частеречную принадлежность слова (Haspelmath 1996, p. 47). Все сильнее звучат голоса против так называемой расщепленной морфологии (Split Morphology), наиболее яркими противниками которой являются Г. Боой (см., например, Booij, 1993; Booij, 1996) и Я. ван Марле (Marle, 1996). Характеризуя принятое в морфологии разделение на словообразование и словообразование, которое лежит в основе расщепленной морфологии, и признавая синтаксический характер действия флективных правил и лексическую природу словообразования, ученые фокусируют внимание на взаимосвязи и взаимодействии этих двух подсистем

морфологии. Разграничивая флексию ингерентную, т.е. независимую от контекста, и контекстуальную флексию, т.е. определяемую другими словами в той же самой структуре (например, согласование), Г. Боой указывает на ряд сходств, существующих между ингерентной флексией и деривацией. Это, например: а) отсутствие для многих имен существительных форм множественного числа, равно как и отсутствие дериватов того или иного типа; б) подобно многим дериватам формы множественного числа имен существительных могут развивать идиосинкретические значения; в) как и некоторые дериваты, некоторые формы множественного числа имен существительных (*pluralia tantum*) не имеют базы (Booij, 1996, p. 3). Полемизируя с Дж. Гринбергом, установившим определенный порядок следования, а именно предшествование словообразовательных морфем флексивным, как языковую универсалию, Г. Боой на примере многих языков показывает, что некоторые типы флексий могут использоваться на вводе в процессы словообразования (нем. *Studententeam* «студенческая команда», англ. *arms race* «гонка вооружений», итал. *portalettere* «почтальон» и др.) Интересные примеры флексии внутри словообразовательной формы в испанском и португальском языках дает Ф. Райнер (Rainer 1996). Все это приводит автора к мысли о том, что вместо полного разделения словоизменения и словообразования в расщепленной морфологии, что, по его мнению, неправильно, имеет смысл отразить их взаимодействие и сохранить и словоизменение, и словообразование в едином морфологическом компоненте (Booij, 1996, p. 13). Идею единой морфологии разделяет и Я. ван Марле. Считая, что к словоизменительным следует относить только те категории, которые играют роль в синтаксической структуре, чьей частью они являются, Я. ван Марле подчеркивает следующее. Несмотря на фундаментальные различия формо- и словообразования, оба эти аспекта слова тесно переплетаются, что находит отражение как в неожиданных, обычно присущих флексии свойствах деривационных категорий, так и в неожиданных, обычно присущих деривации характеристиках флексивных категорий. Данное обстоятельство выступает как важный аргумент в пользу единой морфологии (J. van Marle, 1996).

Оживленная дискуссия разгорелась на страницах работ, посвященных проблемам морфологии, и по поводу того, какая же единица является базой в словообразовательных процессах – корень, основа или слово. Не приводя всех аргументов за и против той или иной точки зрения, скажем, что большинство исследователей склоняются к выбору морфологической основы слова (*lexical stem* в терминах С. Андерсона) как основного представителя исходной единицы. Этот

выбор подсказан как языковым материалом, в котором основа слова выполняет главенствующую функцию в организации лексических единиц (Experimentelle Studien..., 1989, S. 27–40), так и стремлением к единому описанию разных способов словообразования. Он также хорошо согласуется с идеей единой морфологии, в которой именно морфологическая основа слова есть общий фундамент, на базе которого осуществляются различные операции флективного и/или деривационного типа. Ведущая роль основы как репрезентации исходной единицы подтверждается и данными экспериментов по изучению флективной и деривационной морфологии с когнитивных позиций. Как утверждают ученые, морфологически комплексные слова в ментальном лексиконе хранятся в виде основ слова и аффиксов (Experimentelle Studien..., 1989, S. 72).

Думается, что прототипическая и психологическая роль основы как представителя в производном слове исходной единицы связана с ее ролью как семантического и грамматического ядра лексической единицы, наследуемого производным словом и легко узнаваемого при его декодировании. Выступая как семантический эквивалент некоторого мотивирующего комплекса, порою даже некоторого синтаксического целого, в формальном отношении любое производное слово, являясь определенным свернутым трансформом, в котором мотивирующая единица сохраняется в том или ином преобразованном виде, асимметрично по отношению к мотивирующей единице, отличаясь от нее формальной структурой меньшей длины. Иначе говоря, размер (длина) единицы производной и мотивирующей и степень репрезентации обозначаемого в этих двух типах номинации – в цельнооформленном производном слове и отдельнооформленном сочетании слов – являются разными. Именно разноразмерность и сопряженные с нею различия в степени расчлененности семантического представления одного и того же, значимость которых в системе словообразования неоднократно подчеркивалась отечественными учеными (см., например: Кубрякова, 1981, с. 71 и другие ее работы), приводят к установлению в языковой системе еще одного типа асимметрии формы и содержания языковых единиц. Несмотря на это, в сложных и аффиксальных дериватах репрезентация мотивирующих единиц морфологической основой позволяет при необходимости достаточно легко реконструировать исходное суждение или развернутое наименование, восстановить опущенные предикаты и/или аргументы пропозиции, чему способствует и то, что корреляция между формой и значением поддерживает-

ся словообразовательной моделью. Следует подчеркнуть, что наряду с основной репрезентантами исходной единицы могут выступать также корень и словоформа, а в случае аббревиации, связанной с максимальным усечением формы производящей базы, имеет место сохранение ее в виде слога, начального или конечного комплекса звуков или букв. В то же время важность формальных параметров репрезентаций исходных единиц для словообразовательных процессов не вызывает сомнений. Можно, по-видимому, утверждать, что в сфере словообразования действует следующее правило: чем полнее представлена исходная единица в производном слове, тем разнообразнее ее смысловые модификации и богаче реестр передаваемых словообразовательных значений. Неслучайно, на наш взгляд, то, что при аббревиации семантические изменения минимальны и сводятся в большинстве случаев к стилистической отмеченности возникших единиц, хотя это не исключает возможности их семантических преобразований. Данное правило хорошо вписывается в систему закономерностей соотношения формы и содержания, согласно теории естественной морфологии Майерталера – Вурцеля – Дресслера, и согласуется с иконичностью языковых единиц. Если учесть к тому же действие в языковой системе принципа экономии, то становится понятным, почему именно основа становится прототипической формой репрезентации производящих единиц в производном слове.

Данный ракурс подводит нас к рассмотрению семантических ракурсов морфологических явлений.

Знаменательным для генеративных концепций описываемого периода представляется и то обстоятельство, также сближающее американскую лингвистику с европейскими лингвистическими школами, что генеративисты в своих словообразовательных изысканиях обратились к семантическим аспектам словообразования. Так, в приложении к своему труду Р. Бирд дает полный, по его мнению, перечень первичных и вторичных функций, или значений, выражаемых лексической деривацией, в который им включаются значения субъекта как активного деятеля, объекта как того, на которого направлено действие, possessивности, партитивности, итеративности, цели, локативности, оппозитивности и др. (всего 44 значения). Очевиден определенный их изоморфизм с грамматическими значениями, и Р. Бирд специально проводит сравнение этих разных по способу выражения в языковых системах двух классов значений, многие из которых носят универсальный характер.

Любопытна и типология разновидностей лексической деривации, которую предлагает Р. Бирд. Он устанавливает четыре типа лексической деривации. (Напомним, что под лексической деривацией понимается деривация, «работающая» на лексикон.) К ним относятся *переключение* (Switch, Toggle), при котором осуществляется изменение грамматических признаков, типа образования существительных женского рода на основе существительных мужского рода и т.п., *экспрессивная деривация*, направленная на выражение отношения говорящего к референту, *транспозиция*, или *нулевая деривация*, и *функциональная деривация*, связанная с выражением таких значений, как субъект, объект, средство, место и отличающаяся от транспозиции и переключения изменением лексического значения производящих баз.

Исследование семантических аспектов морфологии, наряду, как указывалось ранее, с интенсивной разработкой основополагающих проблем морфологии, таких как объект, предмет, место морфологии в общей системе языка и природа ее категорий, приобретает программный характер и, что главное, нацелено на установление и объяснение универсальных черт морфологических систем разных языков.

Успешному решению поставленной цели, несомненно, способствует, **во-первых**, широкий диапазон привлекаемых для анализа языков. Объектом морфологического исследования становятся языки разных генетических семей и типологических классов: германские, романские, славянские, греческий, санскрит и другие языки индоевропейской семьи, кавказские, семито-хамитские языки, языки американских индейцев, австралийские языки и языки Папуа – Новой Гвинеи. Работа с материалом нескольких, порою многих языковых систем, можно сказать, стала правилом для морфологических штудий (см. работы С. Андерсона, Р. Бирда, М. Ароноффа, Г. Миллера, П. Фогеля, Ф. Райнера и других авторов). Интересны в этой связи и общеевропейские разработки типа проекта, осуществляемого на материале славянских языков под руководством С. Гайды. Начало второго этапа данного проекта ознаменовалось публикацией тома по словообразованию (*Komparacja wspolczesnych jezykow slowianskich/ Słowotwórstwo. Nominacja*, 2003), в составлении которого приняли участие 18 лингвистов из восьми стран. В нем, что важно, освещены закономерности развития словообразовательных систем всех славянских языков. Сопоставительно-типологическое изучение инновационных процессов в славянских языках позволило установить тенденции интернационализации, раскрыть манифестацию специфических черт национальных языков в условиях тесного языкового контакта, выявить прагматико-

стилистические тенденции и тенденции языковой экономии как ведущие аспекты словообразовательной динамики. (См. также материалы заседаний-конференций Постоянного комитета по словообразованию при Международном комитете славистов, активное участие в работе которых принимали русские, белорусские и украинские исследователи.) Примечательно, что изучение производных единиц в этих проектах ведется на широком фоне других типов номинации и других языковых подсистем (см., например, *Wortbildung: interaktiv im Sprachsystem – interdisziplinär als Forschungsgegenstand*, 2000; *Śłowotwórstwo a inne sposoby nominacji*, 2001; *Slavische Wortbildung: Semantik und Kombinatorik*, 2002 и др. Ср. также Fleischer, Barz, 1992).

Во-вторых, и это обстоятельство хотелось бы особенно подчеркнуть, для решения сформулированной выше основополагающей задачи описание морфологических явлений выходит за рамки собственно морфологии и становится междисциплинарным, опираясь, с одной стороны, на данные типологических исследований и с другой – на сведения об общих принципах обработки и хранения информации, имеющиеся в когнитивной науке. Морфологически комплексные слова начинают рассматриваться на общем фоне закономерностей обработки языковых данных человеческим мозгом и когнитивных операций мозга в целом (Hall, 1992, p. 28). Подобная интеграция различных отраслей науки вызвана неразрывной связью между структурами знания и лексическими структурами и необходима, как подчеркивает М. Рикхейт, для объяснения понимания комплексных слов, семантика которых включает различные типы знания: знания о мире и лингвистические знания (Rickheit, 1993, S. 8). Ученые приводят неопровержимые доказательства, что ментальный лексикон в когнитивном языковом модуле, в котором хранится лексическая информация, для того чтобы обеспечить легкость обработки и пути доступа к этой информации, сконструирован морфологически (*morphologically designed*), или в иных терминах, ориентирован на мотивированность лексических единиц (*motivation designed*) (Sandra, 1994, p. 12), а не на простое порождение случайных новых цепочек фонем. Это означает признание зарубежными дериватологами принципиальной значимости мотивированности при рождении, запоминании и распознавании лексических единиц, в целом для овладения языком, его знания и успешного использования.

На повестку дня вновь поставлены в этой связи вопросы типологии мотивированных единиц, которая должна была бы отразить всю гамму различных отношений между значением целого слова и его

морфемной структурой (см., например: Fleischer, Barz, 1992, S. 15; Sandra, 1994, p. 25–30).

Семантическая прозрачность дериватов оказывается мощным фактором в процессах их порождения и восприятия. Как показала серия психолингвистических экспериментов, проведенных М. Келли в Пенсильванском университете, существует психическая реальность разграничения двух классов дериватов: идиосинкретических производных и продуцируемых по правилам (rule-governed) дериватов. Эксперименты не только подтвердили ранее полученное наблюдение о том, что говорящие продуцируют производные слова (в обсуждаемом случае производные отсубстантивные глаголы в современном английском языке типа *salt, pepper*; означающие «to add X onto food» и др.) в убеждении, что слушатель, используя общие знания, легко сможет вывести их значения. Они убедительно продемонстрировали предпочтительность для говорящих как употребления, так и порождения семантически прозрачных производных слов, а также большую легкость, скорость и семантическое тождество их понимания слушающими (Kelly, 1998) и тем самым влияние фактора выводимости / невыводимости семантики производного слова на его порождение и восприятие.

Когнитивный взгляд на морфологию позволил также объяснить факт разного распределения аффиксов в языковых системах и доминирующую роль суффиксов по сравнению с префиксами и инфиксами. Как показывают типологические исследования, суффиксами по сравнению с другими типами аффиксов выражается гораздо большее число значений. Этот приоритет суффиксов в общей системе аффиксальных морфем обусловлен, по мнению К. Холла, ключевой ролью основы в организации ментального лексикона (Hall, 1992, p. 131), через которую осуществляется доступ к лексической единице и ее общей семантической интерпретации. Инициальная позиция префиксов усложняет хранение их репрезентаций и вследствие возникающей психолингвистической асимметрии затрудняет этот доступ, отдаляя таким образом узнавание лексической единицы и требуя для этого больших усилий. Суффиксы же благодаря своей финальной позиции не создают никаких трудностей в обработке слова как последовательности шагов, следующих друг за другом от начала слова.

Когнитологи с удовольствием обращаются к анализу производных слов, ибо сквозь призму словообразовательных структур более легко объективируемы и наблюдаемы когнитивные аспекты слова, гибкость организации концептуальной структуры значения, в которой

осуществляются взаимодействие референциальных и контекстуальных факторов, интеграция синтаксических и семантических условий и разных типов знания. В русле когнитивных исследований проводятся также наблюдения за различными стадиями усвоения морфологических парадигм у детей (Dressler, Karpf, 1995; *Studies in Pre- and Protomorphology*, 1997), эксперименты со здоровыми взрослыми, с взрослыми, которые испытывают затруднения в речи, с целью изучения роли морфологических структур в процессе узнавания слова, установления типа ментальных репрезентаций и обработки единиц флективной морфологии и сравнения с когнитивными процедурами обработки производных слов (*Experimentelle Studien zur deutschen Flexionsmorphologie*, 1989). Как итог многочисленных исследований данного направления получены свидетельства о том, что, например, словоформы, с флексией и без флексии, хранятся по-разному, равно и доступ к ним также представляет собой разные процедуры. Выявлена релевантность открытости / закрытости класса слов для афатиков, у которых обработка единиц открытых классов и, например, служебных слов не совпадает. Стало также ясным, что понимание слова и его употребление есть результат комплексного процесса активизации, селекции и интеграции концептуальных компонентов (Rickheit, 1993, S. 139). Установлено также несовпадение релевантной языковой и концептуальной информации. Доказаны перцептивная салиентность порядка флексий и словообразовательных аффиксов в морфологической структуре слова, перцептивная салиентность семантически прозрачных дериватов (Charman, 1996) и т.д.

В целом нельзя не согласиться с М. Рикхайт в том, что данный междисциплинарный подход оказался чрезвычайно полезным и плодотворным как для словообразования, так и для когнитивистики (Rickheit, 1993, S. 15).

Думается, что когнитивная ориентация лингвистических исследований последнего времени лежит в основе все более частого обращения ученых к данным диахронии (см., например, Jelitte, 1990, 1992; Kleszczowa, 1998, 2004; Stockwell, Minkova, 2001; статьи М. Хаспелмата, Х. Коха, М. Митун, Д. Наполи и Б. Рейнолдса; и др. в *Yearbook of Morphology* 1994; и т.д.). Диахронические факты позволяют дать объяснение правилам комбинаторики аффиксов на современном этапе и установить направление эволюционной цепи словообразовательных преобразований: транспозиция – мутация – модификационные категории (Kleszczowa, 2004). Этому способствуют также анализ неологизмов в словообразовательных системах

(Matussek, 1996) и выявление роли заимствований в становлении словообразования того или иного языка. Диахронические сведения о возникновении аффиксальных систем как результата агглютинации и морфологического реанализа, о потере маркерами своей салиентности и превращении в аффиксы, о наличии того или иного аффикса в тысячах слов, функционирующих и сохраняющих свою морфологическую структуру в течение тысячелетий, диахронный реанализ некоторых парадигм свидетельствуют о значимости морфологии для обеспечения гибкости языка, о действии в языковой системе принципов иконичности и экономии.

Таким образом, благодаря когнитивно и / или диахронно ориентированным исследованиям, ученым удастся глубже проникнуть в закономерности устройства и функционирования морфологической подсистемы, а тем самым в механизмы организации и функционирования языка в целом, что в свою очередь приближает и обеспечивает успех его формализованного описания.

В заключение хотелось бы подчеркнуть следующее. Выявление сравнительно небольшого числа универсальных фундаментальных принципов, регулирующих словоизменение и словообразование в естественных языках и накладывающих существенные ограничения на допустимые структуры словоизменительных парадигм и их возможные сочетания в языках мира, на возможности различной концептуализации с помощью словообразовательных средств и их многофункциональность, определение роли морфологии в организации дискурса, установление закономерностей развития морфологической подсистемы языка и другие не менее серьезные шаги в ее описании стали возможными благодаря широкому фронту морфологических исследований, в которых с разных позиций и на разном материале ученые многих стран стремились проникнуть в тайны данной языковой области. Несомненно, что эти успехи были подготовлены не только предшествующим периодом, но всей историей морфологических изысканий. Одновременно они создали благоприятную почву для дальнейших открытий, наибольшие перспективы для которых связаны, на наш взгляд, с изучением композиционной семантики комплексных языковых единиц, анализом когнитивных процедур обработки и хранения производных слов, языковой креативности, роли морфологии в организации когнитивной системы человека и становлении его интеллекта.

Список литературы

- Актуални проблеми на българското словообразуване. – С., 1999. – 317 с.
- Земская Е.А., Кубрякова Е.С.* Проблемы словообразования на современном этапе: (В связи с XII Междунар. конгр. лингвистов) // *Вопр. языкознания*. – М., 1978. – № 6. – С. 112–123.
- Кубрякова Е.С.* Типы языковых значений: Семантика производного слова. – М., 1981. – 200 с.
- Теория грамматики: Морфология и словообразование: Сб. науч.-аналит. обзоров / РАН. ИНИОН. Отд. языкознания; Отв. ред. Березин Ф.М., Кубрякова Е.С. – М., 1992. – 144 с.
- Харитончик З.А.* Проблемы словообразования в современной зарубежной лингвистике // *Теория грамматики: Морфология и словообразование: Сб. науч.-аналит. обзоров / РАН. ИНИОН. Отд. языкознания; Отв. ред. Березин Ф.М., Кубрякова Е.С.* – М., 1992. – С. 33–55.
- Advances in morphology/ Ed. by Dressier W.U. et al.* – Berlin, 1997. – 207 p.
- Anderson S.R.* A-morphous morphology. – Cambridge, 1992. – 434 p.
- Anderson S.R.* Towards a less «syntactic» morphology and a more «morphological» syntax // *Linguistics today – facing a greater challenge / Ed. by Sterkenburg P. van.* – Amsterdam; Philadelphia, 2004. – P. 31–45.
- Aronoff M.* Morphology by itself. Stems a. inflectional classes. – Cambridge (Mass.); L., 1994. – 210 p.
- Early acquisition of verb grammar and lexical development: Evidence from periphrastic constructions in French a. Austrian German.
- Bassano D., Laaha S., Maillochon I., Dressier W.U.* // *First lang.* – 2004. – Vol. 24, N. 70, Iss. 1. – P. 33–70.
- Beard R.* Lexeme-morpheme base morphology: A general theory of inflection and word formation. – Albany; N.Y., 1995. – 433 p.
- Bochner H.* Simplicity in generative morphology. – Berlin, 1993. – 186 p.
- Die Beziehungen der Wortbildung zu bestimmten Sprachebenen und sprachwissenschaftlichen Richtungen / Hrsg. Jelitte H., Nikolaev G.A. – Frankfurt a. M., 1991. – 339 S.
- Booij G.* Against split morphology // *Yearbook of morphology, 1993 / Ed. by Booij G., Marie J. van.* – Dordrecht etc., 1993. – P. 27–49.
- Booij G.* Inherent versus contextual inflection and the split morphology hypothesis // *Yearbook of morphology, 1995 / Ed. by Booij G., Marie J. van.* – Dordrecht etc., 1996. – P. 1–16.
- Bubenik V.* An introduction to the study of morphology. – Мюнхен, 1999. – 220 p.
- Buzassyova K.* Slovo tvorba v súčasnych derivatologických výskumoch // *Jazykovedny cas.* – Br., 2001. – R. 52, N. 1. – S. 50–54.
- Carstairs-McCarthy A.* Current morphology. – L.; N.Y., 1992. – 289 p.

- Chapman C.* Perceptual salience and affix order: Noun plurals as input to word formation // *Yearbook of morphology*, 1995 / Ed. by Booij G., Marle J. van. – Dordrecht, etc., 1996. – P. 175–184.
- Don J.* Morphological conversion. – Utrecht, 1993. – 232 p.
- Dressier W. U., Karpf A.* The theoretical relevance of pre- and protomorphology in language acquisition // *Yearbook of Morphology*, 1994 / Ed. by Booij G., Marle J. van. – Dordrecht, etc., 1995. – P. 99–122.
- Eichinger L.M.* Deutsche Wortbildung. – Heidelberg, 1994. – 57 S.
- Experimentelle Studien zur deutschen Flexionsmorphologie / Hrsg. von Günther H. – Hamburg, 1989. – 211 S.
- Fleischer W., Barz I.* Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. – Tübingen, 1992. – 375 S.
- Fradin B.* Nouvelles approches en morphologie. – P., 2003. – 347 p.
- Gram-Andersen K.* The ever whirling wheel: A study in word formation. – Lewes, 1995. – 178 p.
- Hacken P. ten.* Defining morphology: A principled approach to determining the boundaries of compounding, derivation a. inflection. – Hildesheim, etc., 1994. – 364 p.
- Hall Ch. J.* Morphology and mind: A unified approach to explanation in linguistics. – L.; N.Y., 1992. – 224 p.
- The handbook of morphology / Ed. by Spencer A., Zwicky A.M. – Oxford, 1998. – 815 p.
- Handler P.* Wortbildung und Literatur: Panorama einer Stilistik des komplexen Wortes. – Frankfurt a. M.; etc., 1993. – 364 S.
- Haspelmath M.* Word-class-changing inflection and morphological theory // *Yearbook of morphology*, 1995 / Ed. by Booij G., Marie J. van. – Dordrecht, etc., 1996. – P. 43–66.
- Horecky J.* Semantics of derived words. – Прељов, 1994. – 194 p.
- Jelitte H.* Die russischen Nomina abstracta des 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts. – Frankfurt a. M., 1992. – Bd 2. – 516 S.
- Jelitte H.* Die russischen Nomina abstracta des 20. Jahrhunderts. – Frankfurt a. M., etc., 1990. – T. 1: Der lexikalische Bestand der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. – 405 S.
- Katamba F.X.* Morphology. – L., 1993. – 217 p.
- Kelly M.H.* Rule and idiosyncratically derived denominal verbs: Effects on language production and comprehension // *Memory a. cognition*. – Austin, 1998. – Vol.26. – P. 369–381.
- Kleszczowa K.* Staropolskie kategorie słowotwórcze i ich perspektywiczna ewolucja: Rzeczowniki. – Katowice, 1998. – 186 s.
- Kleszczowa K.* Przypadek i prawidłowość w przemianach systemu słowotwórczego // *Por. językowy*. – W-wa, 2004. – N.2. – S. 51–66.
- Komparacja współczesnych języków słowiańskich: Słowotwórstwo. Nominacja. Red. Ohnheiser I. – Opole, 2003. – 541 S.
- Lenz B.* Un-Affigieung: Unrealisierbare Argumente, unausweichliche Fragen, nicht unplausible Antworten. – Tübingen, 1995. – 242 S.

- Lieber R.* Deconstructing morphology: Word formation in syntactic theory. – Chicago; L., 1992. – 248 p.
- Lieber R.* Morphology and lexical semantics. – Cambridge, 2004. – 196 p.
- Lockwood D.G.* Morphological analysis and description: A realizational approach. – Tokyo, 1993. – 340 p.
- Marle J. van.* The unity of morphology: On the interwovenness of the derivational a. inflectional dimension of the word // Yearbook of morphology 1995 / Ed. by Booij G., Marle J. van. – Dordrecht, etc., 1996. – P. 67–82.
- Matussek M.* Wortneubildung im Text. – Hamburg, 1994. – 153 S.
- Miller D.G.* Complex verb formation. – Amsterdam; Philadelphia, 1993. – 381 p.
- Meyer R.* Compound comprehension in isolation and in context. – Tübingen, 1993. – 156 p. – (Ling. Arbeiten; 299).
- Novak V.* Form, Bedeutung und Funktionen von Nomen-Nomen-Kombinationen. – Frankfurt a. M., 1996. – 183 S.
- Perspektiven der Wortbildungsforschung / Hrsg. von Brekle H.E., Kastovsky D. – Bonn, 1977. – 235 S.
- Phrases and interfaces of morphology / Ed. by Hariprasad M. et al. – Hyderabad, 1997. – 362 p.
- Rainer F.* Spanische Wortbildungslehre. – Tübingen, 1993. – 800 S.
- Rainer F.* Inflection inside derivation: Evidence from Spanish a. Portuguese // Yearbook of morphology 1995 / Ed. by Booij G., Marle J. van. – Dordrecht, etc., 1996. – P. 83–91.
- Reichl K.* Categorical grammar and word formation: The deadjectival abstract noun in English. – Tübingen, 1982. – 253 p.
- Richkeit M.* Wortbildung: Grundlagen einer kognitiven Wortsemantik. – Opladen, 1993. – 301 S.
- Ruf B.* Augmentativbildungen mit Lehnpräfixen: Eine Untersuch. zur Wortbildung der dt. Gegenwartssprache. – Heidelberg, 1996. – 451 p.
- Sandra D.* Morphology in the reader's mental lexicon. – Frankfurt a. M., 1994. – 267 p.
- Schultink H.* Morphology and Meaning: From Bopp to Bob, before a. after // Productivity and creativity: Studies in gen. a. descriptive linguistics in honor of E.M.Ulenbeck / Ed. by Janse M. with the assist. of Verlinden A. – Berlin; N.Y., 1998. – P. 211–230.
- Slavische Wortbildung: Semantik u. Kombinatorik: (Materialen der 5. Internationalen Konferenz der Kommission für slavische Wortbildung beim Internationalen Slavistenkomitee / Lutherstadt Wittenberg, 20–25. Sept. 2001) / Hrsg. Mengel S. – Münster, 2002. – 490 S.
- Słowotwórstwo a inne sposoby nominacji // Materiały z 4 Konferencji Komisji słowotwórstwa prze Międzynarodowym Komitecie slawistów, Katowice, 27–29 września 2000 r. / Red. Kleszczowa K., Selimski L. – Katowice, 2000. – 208 S.
- Spencer A.* Morphological theory: An introd. to word structure in generative grammar. – Blackwell, 1991. – 512 p.

- Jbtekauer P.* A theory of conversion in English. – Frankfurt a. M., 1996. – 155 p.
- Jbtekauer P.* An onomasiological theory of English word formation. – Amsterdam, 1998. – 192 p.
- Stockwell R.P., Minkova D.* English words: History a. structure. – Cambridge, 2001. – 208 p.
- Studies in pre- and protomorphology / Ed. by Dressier W.U. with the assist. of Vollmann R. – Wien, 1997. – 179 p.
- Stump G.T.* Inflection al morphology: A theory of paradigm structure. – Cambridge, 2001. – 308 p.
- Swiggers P.* The morpheme in Bloomfield's *Language* // Productivity and creativity: Studies in general and descriptive linguistics in honor of E.M.Ulenbec / Ed. by Janse M. with the assist. of Verlinden A. – Berlin; N.Y., 1998. – P. 251–263.
- Walther M.* Deklarative prosodische Morphologie: Constraint-basierte Analysen u. Computermodelle zum Finnischen u. Tigrinya. – Tьbingen, 1999. – 295 S.
- Waszakowa K.* Słowotwórstwo a niektóre założenia kognitywizmu // Por. językowy. – W-wa, 2004. – N2. – S. 67–80.
- Wickens M.A.* Grammatical number in English nouns. – Amsterdam; Philadelphia, 1992. – 356 S.
- Wortbildung: Interaktiv im Sprachsystem – interdisziplinär als Forschungsgegenstand: Materialien der 3. Konferenz der Kommission für slavische Wortbildung beim Internationalen Slavistenkomitee, Innsbruck, 28.9–1.10.1999 / Hrsg. Ohnheiser M. – Innsbruck, 2000. – 311 S.
- Wortbildung: Theorie u. Anwendung / Ed. Šimečková A., Vachková M. –Pr., 1996. – 190 p.
- Yearbook of morphology, 1991 / Ed. by Booij G., Marle J. van. – Dordrecht etc., 1992. – 268 p.
- Yearbook of morphology, 1993 / Ed. by Booij G., Marle J. van. – Dordrecht etc., 1993. – 273 p.
- Yearbook of morphology, 1994 / Ed. by Booij G., Marle J. van. – Dordrecht etc., 1995. – 307 p.
- Yearbook of morphology, 1995 / Ed. by Booij G., Marle J. van. – Dordrecht etc., 1996. – 189 p.

М.Б. Раренко

ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА И ТЕОРИЯ МЕНТАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ

Проблема изучения текста в различных его аспектах занимала разных ученых – лингвистов, литературоведов, культурологов, психологов, социологов – на протяжении всего XX в. Исследования текста занимали такое важное место в лингвистических исследованиях, что на рубеже 60–70-х годов XX в. зародилась самостоятельная научная дисциплина – лингвистика текста, под которой, пишет К.А. Филиппов, понимают «любое лингвистическое исследование, в котором автор обращается к тексту (в устной или письменной форме) как основной единице человеческой коммуникации или в котором анализу подвергаются явления, настолько далеко выходящие за рамки предложения, что фрагменты текста можно рассматривать в качестве самостоятельных языковых единиц» (Филиппов, 2004, с. 8). В настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнения или удивления тот факт, что в качестве самостоятельного аспекта лингвистического анализа может выступать и выступает текст.

Выделение лингвистики текста в особую, самостоятельную научную дисциплину объяснялось как сугубо лингвистическими, так и экстралингвистическими причинами. К лингвистическим причинам исследователи относят невозможность адекватно объяснить некоторые языковые явления, если опираться исключительно на традиционный понятийный аппарат, поскольку он ориентирован изначально на анализ конкретного отдельно взятого предложения вне контекста. К экстралингвистическим причинам следует отнести то, что текст находился и находится в центре внимания не только лингвистики, но и других гуманитарных дисциплин – психологии,

социологии, юриспруденции, литературоведения, а также теории и практики перевода, автоматической переработки языковых данных и др. Очевидно, что дальнейшее развитие лингвистической теории текста требовало не только привлечения к анализу экстралингвистических знаний, но и выход в междисциплинарный контекст науки. Соответственно, текст описывался уже не в рамках одной дисциплины, а в междисциплинарном пространстве.

Еще М.М. Бахтин отмечал, что изучение текста только лингвистическими методами в значительной степени обедняет его понимание: «Чисто лингвистическое (притом чисто дескриптивное) описание ...в пределах одного произведения не может раскрыть их смысловых (в том числе и художественных) взаимоотношений» (Бахтин, 1997, с. 319). Бахтин одним из первых исследователей заметил, что текст нужно изучать в диалоге с другими текстами, т.е. рассматривать не просто статический текст, а текст в реальном времени. В этой связи Бахтин особо отмечает «диалогические отношения между текстами и внутри текста» (Бахтин, 1997, с. 308). «Смысловые связи внутри одного высказывания (хотя бы потенциально бесконечного, например, в системе науки) носят предметно-логический характер (в широком значении этого слова), но смысловые связи между разными высказываниями приобретают диалогический характер (или во всяком случае диалогический оттенок)» (Бахтин, 1997, с. 321). Ограниченность традиционных лингвистических методов при описании и изучении текста в реальном времени заключается в том, что «лингвистика изучает только отношения между элементами внутри системы языка, но не отношения между элементами в высказываниях и не отношения высказываний к действительности и к говорящему лицу (автору)» (там же, с. 326).

Большую часть XX в. языковеды посвятили изучению языка как некоей абстрактной сущности (языковой системы), имеющей социальную природу. На передний план лингвистических исследований выдвинулась проблема рассмотрения отношений между элементами языковой системы. Предполагалось, что язык представляет собой автономное образование, существующее в отрыве от человека, его знания о мире, его повседневной жизни.

Между тем еще В. Гумбольдт указывал на прочную связь языка с окружающим человека миром: «Человек преимущественно — даже и исключительно, постольку ощущения и действия его зависят от его представлений, — живет с предметами так, как их преподносит ему язык. Посредством того же самого акта, в силу которого он спле-

тает язык изнутри себя, он вплетает себя в него; и каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, откуда человеку дано выйти постольку, поскольку он тут же вступает в круг другого языка. Освоение иностранного языка можно было бы уподобить завоеванию новой позиции в прежнем видении мира; до известной степени фактически так дело и обстоит, постольку каждый язык содержит всю структуру понятий и весь способ представлений определенной части человечества» (Гумбольдт, 1984, с. 80).

Неслучайно на первых этапах развития лингвистики текста как новой гуманитарной дисциплины Т.А. ван Дейк писал, что «наука о текстах» – междисциплинарная наука, которая интегрирует в себе отдельные самостоятельные научные направления, такие как теология, история, юриспруденция, социальная психология, литературоведение и др. Эти дисциплины также в качестве предмета своего исследования рассматривают текст. Ван Дейк также говорит о том, что все эти дисциплины рассматривают текст в разных ракурсах и с разной установкой. Так, например, в исторической науке идет речь прежде всего о социальных, политических и культурных обстоятельствах возникновения текстов и их вариантов, а в теологии – об интерпретации преимущественно религиозных текстов. Таким образом, лингвистику текста ван Дейк понимал как лишь часть более общей «науки о текстах».

Если до второй половины XX в. исследования текста в целом носили более конкретный характер, т.е. текст рассматривался сам по себе, вне связи с другими текстами, а роль адресата вообще могла не учитываться, то начиная с 70–80-х годов XX столетия текст рассматривается как сложное многоуровневое явление. Более того, к этому же времени относится появление ставшего сейчас очень популярным и отчасти в силу частотности своего употребления несколько размытым понятие «дискурса».

Появившись как синоним понятию «текст», понятие «дискурс» по-прежнему употребляется достаточно широко. Однако если раньше (еще в 70-е годы XX в.) под «дискурсом» понимали «текст» (дискурс – связанная последовательность предложений или речевых актов), то сейчас можно сказать, что дискурс – это текст в реальном времени, т.е. сложное коммуникативное явление, включающее, кроме текста, еще и экстралингвистические факторы (знание о мире, мнения, установки, цели адресата), необходимые для понимания текста (более подробно о понятиях «текст» и дискурс см.: Кубрякова, 2004, с. 505–531).

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений изучения текста, по мнению многих языковедов, является когнитивное направление. Как пишет К.А. Филиппов, «центральное направление современных исследований текста в области целых речевых произведений связано, по всей видимости, с когнитивным аспектом языковых явлений» (Филиппов, 2004, с. 292). Эта область лингвистического описания непосредственно связана с усвоением, обработкой, организацией, хранением и использованием человеком знаний об окружающем мире, а сами когнитивные исследования носят ярко выраженный междисциплинарный характер. Когнитивная лингвистика использует самые разнообразные сведения – из философии, логики, психологии, нейропсихологии, антропологии, теории искусственного интеллекта – для объяснения многих фундаментальных проблем человеческого мышления и речевой деятельности (Филиппов, 2004).

На сегодняшний день когнитивные исследования в большей степени, чем другие исследования, отвечают потребностям времени. В предисловии «На пути к когнитивной модели языка» В.И. Герасимов и В.В. Петров писали: «Меняется сама парадигма научных исследований. Если раньше фундаментальные науки “поставляли” теоретические идеи, которые со временем воплощались в соответствующие технологии, то сейчас часто происходит обратное – потребности развития той или иной технологии задают направление и масштаб теоретическим изысканиям» (Герасимов, Петров, 1988, с. 5).

Возникновение когнитивной лингвистики как принципиально иного направления изучения языковых явлений, и особенно текста, было отчасти реакцией на пренебрежение семантикой в лингвистических теориях, господствовавших (особенно в Северной Америке) в 1970-х годах. Поэтому семантика играет значительную роль в исследованиях по когнитивной лингвистике, а сама когнитивная лингвистика на первом этапе своего развития нередко отождествляется с когнитивной семантикой и рассматривается в ней как ведущая сила в употреблении языка. В связи с этим можно говорить о сдвиге научной парадигмы: от подхода, основанного на математическом взгляде на язык как на формальную систему, к менее формалистическому подходу, при котором язык рассматривается как биологическая система. В последнем случае язык оказывается по своей природе не вполне упорядоченным, и описать его как формальную

систему несравненно труднее, чем, например, компьютерную программу (Современная американская лингвистика, 2002).

В когнитивных исследованиях дискурса выделяется несколько направлений, ставящих перед собой различные задачи по изучению структур репрезентации знания, представленных в тексте. Одно из этих направлений объединяют исследования, связанные с моделированием когнитивных процессов порождения и восприятия. В фокусе внимания других исследователей – изучение самих структур репрезентации знания, а также способов хранения, обработки и извлечения знаний в процессе дискурсивной деятельности. Отдельную область анализа составляют изучение и описание разных видов представленной в структурах знания информации, необходимой для осуществления дискурсивного взаимодействия людей.

Когнитивный анализ естественно протекающей дискурсивной речевой деятельности человека, интенсивно развивающийся в последние 20 лет, составляет особую сферу исследования. В рамках этого направления изучаются типы, виды и способы организации в сознании человека языковых и неязыковых знаний, необходимых для успешной коммуникации. Эти знания по-разному отражаются на разных этапах речевой деятельности, по-разному используются и по-разному вербализуются в разных языковых формах.

Моделирование когнитивных процессов, связанных с осуществлением речевой деятельности, применяется в качестве инструмента анализа в различных областях когнитивной науки, прежде всего в психолингвистике, когнитивной лингвистике, исследованиях по созданию искусственного интеллекта, поэтому закономерно, что разработанные в рамках этих научных дисциплин теоретические и методологические основания, а также категориальный аппарат, используются и для целей когнитивного описания дискурса.

Созданные в этих научных дисциплинах модели речевых процессов и механизмов их реализации представляют различные аспекты речевой деятельности в соответствии с исходными целями и установками, актуальными для каждой из этих областей знания. На этом основании модели речевой деятельности разделяют на психолингвистические, лингвистические и процедуральные (Кубрякова, 2004).

На ранних этапах когнитивно-дискурсивных исследований многие из этих моделей использовались в качестве теоретической базы для когнитивного анализа препозиционных структур и семантической когерентности дискурса, а также явлений дейкиса и различных форм текстовой когезии. Со временем стало очевидно, что

лингвистические, психолингвистические и процедурные модели, задачей которых является описание процессов и механизмов речемыслительной деятельности на уровне высказывания, не отвечают потребностям когнитивного анализа коммуникативных единиц более высокого порядка, поскольку при изучении дискурса процесс речевой деятельности необходимо рассматривать «не как порождение отдельных, изъятых из общего контекста и независимых друг от друга предложений, а как порождение текстов, законченных речевых произведений, сообщений монологического или диалогического характера» (Кацнельсон, 1972).

Изучение особенностей порождения и восприятия связной речи как целостной сущности привело к необходимости разработки особой когнитивной модели дискурса, главной целью которой являются описание и объяснение механизмов образования разнообразных когерентных дискурсивных связей в процессе речевой деятельности с учетом всех достижений в этой области, сделанных в разных дисциплинах, изучающих речемыслительные процессы в сознании человека. Несмотря на то что большинство теоретических и экспериментальных исследований дискурса до сих пор сосредоточены на анализе процессов восприятия, специалисты в области когнитивного анализа дискурса исходят из того, что в процессе дискурсивной деятельности индивид выступает одновременно и как субъект восприятия, и как субъект порождения дискурса, в сознании которого происходит мгновенная когнитивная обработка данных в обоих направлениях (Цурикова, 2002).

Именно это важное положение лежит в основе когнитивной модели диалога Т. ван Дейка, автора одной из наиболее влиятельных на сегодня когнитивных концепций дискурса. Отмечая, что, в отличие от монологического, в диалогическом дискурсе его участники выступают одновременно и в качестве слушающего, и в качестве говорящего и что данный факт предполагает одновременное протекание в их сознании процессов восприятия и порождения речи, ван Дейк подчеркивает, что при когнитивном моделировании диалогического дискурса необходимо учитывать не только структурные характеристики составляющих диалог реплик, но и их интеракционные (речеактные) свойства. Поэтому эмпирически адекватная когнитивная модель диалога должна отражать не только процессы и механизмы обработки языковой информации, но и процессы обработки интеракционно значимой информации, а также социально релевантные и энциклопедические знания, набор тек-

стовых и социальных стратегий: «Одно из основных допущений когнитивной модели состоит в том, что для процессов понимания и порождения текста характерно достаточно сложное взаимодействие информации, поступающей от разных уровней» (ван Дейк, 1987, с. 163), «мы идем от понимания слов и понимания составных частей предложений, затем к последовательностям предложений и самым внешним структурам текста. Но существует постоянная обратная связь между менее и более сложными единицами: понимание функции слова в предложении зависит от функциональной структуры предложения в целом, включая синтаксический и семантический уровни». Далее ван Дейк продолжает: «Участвуя в актах коммуникации, мы либо понимаем то, что говорят другие, либо сами порождаем высказывания. В первом случае нашей действительной целью является понимание мыслей, выражаемых с помощью языка. Язык – это средство передачи мысли и как таковой выступает главным образом в виде своеобразной “упаковки”. Однако знания, используемые при его декодировании, отнюдь не ограничиваются знаниями о языке. В их число входят также знания о мире, социальном контексте высказываний, умение извлекать хранящуюся в памяти информацию, планировать и управлять курсом и многое другое. При этом ни один из типов знания не является более важным для процесса понимания, ни одному из них не отдается явное предпочтение. Только изучение способов взаимодействия и организации всех типов знаний приближает нас к пониманию сути языковой коммуникации, способствует прояснению природы семантического вывода, осуществляемого в повседневной практике употребления языка» (ван Дейк, 1989, с. 5). Таким образом, следует отметить, что изучение знаний, используемых в ходе языкового общения, рассматривается как одно из ведущих направлений когнитивной науки, а сам термин «когнитивная наука» с середины 70-х годов стал употребляться для обозначения области, в рамках которой исследуются процессы усвоения, накопления и использования информации человеком. Особое значение в связи с вышесказанным приобретает проблема изучения информации или знания. В состав базы знаний входят по меньшей мере следующие компоненты: 1) языковые знания: а) знания языка – грамматики (с фонетикой и фонологией), дополненное знание композиционной и лексической семантики; б) знания об употреблении языка; в) знание принципов речевого общения; 2) внеязыковые знания: а) о контексте и ситуации, знания об адресате (в том числе знания

поставленных адресатом целей и планов, его представления о говорящем и об окружающей обстановке и т.д.); б) общефоновые знания (т.е. знания о мире): знания о событиях, состояниях, действиях и процессах и т.д. (Герасимов, Петров, 1988, с. 7).

Одним из важных результатов более чем десятилетнего развития когнитологии является идея о неразрывной взаимосвязи процессов, происходящих в человеческой памяти, а также определяющих построение и понимание языковых сообщений. Понимание некоторой новой ситуации сводится прежде всего к попытке найти в памяти знакомую ситуацию, наиболее сходную с новой. Этот поиск основывается на том, что структуры, применяемые для обработки новых данных, аналогичны используемым для организации памяти.

Фундаментальное знание прошлого опыта для запоминания и понимания языковых высказываний было впервые продемонстрировано еще в 30-е годы Ф. Бартлеттом, который на основе изучений особенностей припоминания текста обнаружил, что память практически никогда не бывает буквальной. При воспроизведении текста по памяти нередко производится его модификация, осуществляющаяся в соответствии с познавательными стереотипами и нормами, принятыми в данной социальной среде (Герасимов, Петров, с. 8). Барлетт ввел понятие термина «схема», под которым понимал способ представления операциональной информации. Этому термину в других терминологиях соответствуют «когнитивные структуры, концепты» (более подробно см.: Краткий словарь когнитивных терминов, 1996).

Одной из первых и безусловно наиболее простых структур для представления семантических данных высокого уровня явились сценарии. Сценарий представляет собой набор объединенных временными и причинными связями понятий низшего уровня, описывающий упорядоченную во времени последовательность стереотипных событий. Примером описания некоторой разворачивающейся во времени ситуации с помощью сценария может служить представление последовательности событий, связанных с посещением врача, магазина, ресторана и т.п. В лингвистике утвердилось в большей степени не понятие «сценария», а понятие «фрейма». Этому понятию также соответствуют понятия «схема» в когнитивной психологии, «ассоциативные связи», «семантическое поле». С каждым фреймом связаны несколько видов информации: об его использовании и том, что следует ожидать затем, что делать, если ожидания не подтвердятся (более подробно см.: Краткий словарь когнитивных терминов, 1996; Филлмор, 1988). Филлмор в своей работе «Фреймы

и семантика понимания» поясняет необходимость описания и изучения фреймов: «Фреймы интерпретации могут быть введены в процесс понимания текста вследствие их активации интерпретатором или самим текстом. Фрейм активируется, когда интерпретатор, пытаясь выявить смысл фрагмента текста, оказывается в состоянии приписать ему интерпретацию, поместив содержание этого фрагмента в модель, которая известна независимо от текста. Фрейм активизируется текстом, если некоторая языковая форма или модель обычно ассоциируется с рассматриваемым фреймом» (Филлмор, 1988, с. 65). Говоря о природе фреймов, исследователь утверждает, что она может быть различной: некоторые фреймы, несомненно, являются врожденными в том смысле, что они естественно и неизбежно возникают в процессе когнитивного развития каждого человека (примером здесь может быть знание характерных черт человеческого лица). Другие фреймы усваиваются из опыта или обучения (например, знание артефактов и социальных установлений), крайний случай представляют те фреймы, существование которых полностью зависит от связанных с ними языковых выражений (дюйм, фут, единицы календаря, например, неделя и названия месяцев).

Структуры знания, именуемые фреймами, схемами, сценариями, планами и т.п., представляют собой пакеты информации (храняемые в памяти или создаваемые в ней по мере надобности из содержащихся в памяти компонентов), которые обеспечивают адекватную когнитивную обработку стандартных ситуаций. Эти структуры играют существенную роль в функционировании естественного языка: с их помощью устанавливается связность текста на микро- и макроуровне, обеспечивается вывод необходимых умозаключений, их активацией объясняются, например, некоторые особенности выражения категории определенности / неопределенности в артиклевых языках. Наконец, они «поставляют» контекстные ожидания, позволяющие прогнозировать будущие события на основе ранее встречавшихся сходных по структуре событий.

В 80-е годы было сформулировано несколько конструктивных идей, относящихся к изучению концептуальной организации знаний. К ним, в частности, относится выдвинутая Р. Шенком и его последователями гипотеза об интегральном характере обработки естественного языка. В соответствии с ней обработка языковых данных представляет собой единый процесс и происходит параллельно на всех уровнях – синтаксическом, семантическом и прагматическом. Семантическая интерпретация не обязательно должна осуществляться

только после завершения синтаксического анализа. Она может начаться и ранее на основе имеющейся информации о синтаксических структурах, а во время синтаксического анализа может использоваться семантическая и прагматическая информация.

М. Минский, рассматривая проблему концептуальной организации знаний, предлагает ввести систему «когнитивных цензоров», запрещающих определенные формы речевого поведения (Герасимов, Петров, 1988).

В отличие от «ментальных моделей» Джонсона-Лэрда, «фреймов» Минского, «сценариев» Шенка и Абельсона ван Дейк выделяет в качестве основного типа репрезентации знаний «модель ситуации».

По мнению ван Дейка, в основе ситуационных моделей лежат не абстрактные знания о стереотипных событиях и ситуациях – как в ментальных моделях, сценариях и фреймах, – а личностные знания носителей языка, аккумулирующие их предшествующий индивидуальный опыт, установки и намерения, чувства и эмоции. Ситуационная модель строится вокруг схемы модели, состоящей из ограниченного числа категорий, которые используются для интерпретации ситуаций. Эти схемы наполняются конкретной информацией в различных коммуникативных актах (ван Дейк, 1989). Другой аспект представления знаний в когнитивной модели ван Дейка – выделение так называемых суперструктур, характеризующих специфические типы текстов.

Важная особенность когнитивной модели обработки дискурса Т. ван Дейка связана с его представлением о процессе организации знаний не как жестко алгоритмической, а как гибкой стратегической процедуре. Основным принцип стратегического подхода заключается в отборе наиболее значимой в данном контексте и для данных коммуникантов информации.

Одно из важных направлений исследований в рамках когнитивной парадигмы – исследование метафор. Для понимания текста изучение метафор необходимо, потому что одна из важнейших функций метафоры – когнитивная, или функция получения нового знания. Область источника в когнитивной теории метафоры – обобщение опыта практической жизни человека в мире. Знания в области источника организованы в виде «схем образов» – относительно простых когнитивных структур, постоянно воспроизводящихся в процессе физического взаимодействия человека с действительностью. Важное место в любой культуре занимают ориентационные метафоры, т.е. такие, которые связаны с ориентацией в пространстве (верх –

низ, внутри – снаружи, передняя сторона – задняя сторона, глубокий – мелкий). Метафорические ориентации не являются произвольными, напротив, они оказываются закреплены в языке, так как основаны на нашем физическом и культурном опыте.

Метафора как феномен художественной литературы (но и не только), языка, культуры и искусства в целом никогда не была обделена вниманием ученых и деятелей искусства. В работе известных исследователей Дж. Лакоффа и М. Джонсона «Метафоры, которыми мы живем» описываются основы когнитивного подхода к изучению метафорики. Основным тезисом, из которого исходят исследователи, является тезис о том, что в основе процессов метафоризации лежат процессы обработки структур знаний – фреймов и сценариев. Знания, реализующиеся во фреймах и сценариях, представляют собой, как уже было показано выше, обобщенный опыт взаимодействия человека с окружающим миром – как с миром объектов, так и с социумом. Метафоризация основана на взаимодействии двух структур знаний – когнитивной структуры «источника» и когнитивной структуры «цели». В процессе метафоризации некоторые области цели структурируются по образцу источника, иначе говоря, происходит «метафорическая проекция», или «когнитивное отображение». Следы метафорической проекции обнаруживаются на уровне семантики предложения и текста в виде метафорических следствий. К схемам образов относятся, например, такие категории, как «вместилище», «путь», «баланс», верх – низ, перед – зад, частное – целое.

Устойчивые соответствия между областью источника и областью цели, фиксированные в языковой и культурной традиции данного сообщества, получили название «концептуальных метафор». К ним относятся такие, как: «время – это деньги; спор – это война; жизнь – это путешествие». Концептуальные метафоры могут образовывать согласованные концептуальные структуры более глобального уровня – «когнитивные модели», которые являются уже чисто психологическими и когнитивными категориями, напоминающие по свойствам гештальты когнитивной психологии, что в свою очередь является одним из направлений когнитивной теории метафоры – дескриптивная теория метафоры. Последняя представляет собой попытку формализации когнитивной теории метафоры для формализованного описания большого корпуса контекстов использования метафор, т.е. для исследования метафорики дискурса в целом, а не анализа отдельных изолированных примеров. (Более подробно об исследованиях в области метафоры см.: Опарина, 2000.)

Говоря о современных исследованиях текста, нельзя не упомянуть такое направление, которое особенно бурно и продуктивно развивается в настоящее время, – теория концептов. В самом широком значении концепт – это «термин, служащий объяснению ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая отражает знание и опыт человека; оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга (*lingua mentalis*), всей картины мира, отраженной в человеческой психике» (Краткий словарь когнитивных терминов, 1996, с. 90). Г.Г. Слышкин под концептом понимает «единицу, призванную связать воедино научные изыскания в области культуры, сознания и языка, так как он принадлежит сознанию, детерминируется культурой и опредмечивается в языке» (Слышкин, 2000, с. 9). Несмотря на большое количество определений термина «концепт», а также и на то, что некоторые определения явно противоречат друг другу, все исследователи едины во мнении, что концепт – одно из центральных понятий современной гуманитарной науки и оно активно исследуется в том числе и в работах по анализу текста. «Концепты, которые управляют нашим мышлением, – не просто порождение ума. Они влияют на нашу повседневную деятельность, вплоть до самых тривиальных деталей. Наши концепты структурируют наши ощущения, поведение, наше отношение к другим людям» (Ирисханова, 2005, с. 25). Концептуальная система играет центральную роль в определении реалий повседневной жизни, а значит, и при описании дискурса. Наиболее фундаментальные культурные ценности согласуются с метафорической структурой основных концептов этой культуры.

То, каким образом с помощью языка может осуществляться связь между центральными и внефокусными концептуальными структурами в ходе речевой деятельности, и показывает теория ментальных пространств – относительно новое направление когнитивных исследований. Под ментальным пространством при этом рассматривается определенная мыслительная область – область концептуализации, которая может охватывать понимание реальных ситуаций, прошлого и будущего; гипотетические ситуации и ситуации возможных миров, а также абстрактные категории. Эти ментальные пространства, имеющие чисто когнитивный статус и не существующие вне мышления, структурируются с помощью различных когнитивных моделей: образно-схематических (вместилище, часть – целое, верх – низ и т.п.), пропозициональных (пропозиция, сценарий или скрипт, пучок при-

знаков, таксономия, радиальная категория), метафорических, метонимических, символических (Болдырев, 2000). Слияние концептуальных сущностей происходит не только в пределах одного пространства, но и на межпространственном уровне. Понятие интегрированного (смешанного) пространства возникает из слияния двух или более исходных ментальных пространств.

Исследователи, прежде всего Ж. Фоконье, а также и его последователи, разрабатывающие теорию ментальных пространств (среди отечественных исследователей нельзя не назвать О.К. Ирисханову), выделяют разные пространства – идентификационные, контрафактуальные, пространственно-временные, а также сложные конфигурации из этих ментальных моделей, так как дискурс требует постоянного возвращения к одним и тем же референтным сущностям, доступ к концептуальным элементам остается открытым, а при желании мы можем вернуться и в любое из уже построенных ментальных пространств.

Создание нового значения подставляет собой не столько манипулирование заранее заданными ментальными репрезентациями, сколько активный процесс установления разнообразных связей между ментальными пространствами, в которых происходит интеграция различных аспектов информации – долговременной и актуальной. Соответственно, одной из задач ставится задача описания путей и способов конструирования ситуации или объекта. Ж. Фоконье и М. Тернер придают интегративным процессам статус центральных, полагая, что наше мышление опирается на три И: Идентификацию, Интеграцию, Игру воображения (Fausconnier, Turner, 2002).

В свою очередь ментальное пространство подразделяется на условное, временное, желания, возможности. Это так называемые референтные пространства. В данных пространствах сосуществуют различные концептуальные сущности: стереотипные фреймы, отдельные концептуальные элементы, указывающие на роли и признаки участников ситуации (Нотр-Дам, Мария, король), а также вновь созданные «по прихоти говорящего» концептуальные образования (Ахилл, который гонится за зайцем, думая, что это черепаха). Структурные элементы ментальных пространств могут реферировать к реальным объектам, а могут и не указывать на них.

Ментальные пространства, первоначально задуманные как средство решения традиционно логических проблем непрямой референции, расщепленной референции, референтной нечеткости, вскоре становятся носителями исходной для теории концептуаль-

ной интеграции идей, а именно: концептуальная компрессия существующих связей между несколькими ментальными пространствами внутри одного интегрированного пространства. К последним относят причинно-следственные, идентификационные, интенциональные, репрезентативные связи, а также изменения, часть – целое, аналогии (Ирисханова, 2005).

Итак, подводя итог исследованиям в области текста, необходимо отметить, что на протяжении XX в. происходит уточнение самого предмета описания. Если ранее текст понимался достаточно формально – вплоть до того, что под текстом понимали некоторую последовательность предложений, которая и подвергалась анализу, часто с формальной стороны, то в настоящее время текст понимается более широко – в контексте других текстов, в интерактивном диалоге с ними. Принципиально изменился подход к изучению текстов. Когнитивный подход к языку – динамично развивающееся направление, где результаты обновляются чрезвычайно быстро. При этом исследования когнитивных аспектов языка способствуют не только эффективному решению прикладных задач, но и углублению наших представлений о скрытых механизмах языковой коммуникации.

Результаты анализа текста в рамках когнитивной парадигмы оказываются исключительно востребованы и в прикладном языкознании: в теории и практике перевода, в преподавании как родного, так и иностранного языков, в межкультурной коммуникации.

Список литературы

- Апполонская Т.А., Пиотровский Р.Г.* Функциональная грамматика – фрейм – автоматическая переработка текста // Проблемы функциональной грамматики. – М., 1985. – С. 87–96.
- Барт Р.* От произведения к тексту // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М., 1989. – С. 413–423.
- Бахтин М.М.* Проблема текста // Бахтин М.М. Собрание сочинений. – М., 1997. – Т. 5. – С. 306–326.
- Бахтин М.М.* Эстетика словесного творчества. – М., 1986. – 445 с.
- Бергельсон М.Б., Кибрик А.Е.* Прагматический принцип приоритета и его отражение в грамматике языка // Моделирование языковой деятельности. – М., 1987. – С. 58–76.
- Болдырев Н.К.* Когнитивная семантика. – Тамбов, 2000. – 123 с.
- Вежбицкая А.* Семантические универсалии и описание языков. – М., 1999. – 777 с.
- Гальперин И.Р.* Текст как объект лингвистического исследования. – М., 1981. – 139 с.

- Герасимов В.В., Петров В.В.* На пути к когнитивной модели языка // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1988. – Вып. 23: Когнитивные аспекты языка. – С. 5–11.
- Гумбольдт В., фон.* Избранные труды по языкознанию. – М., 1984. – 397 с.
- Дейк ван Т.* Язык. Познание. Коммуникация. – М., 1989. – 323 с.
- Дейк ван Т., Кинч В.* Стратегии понимания связного текста // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1988. – Вып. 23: Когнитивные аспекты языка. – С. 153–211.
- Дридзе Т.М.* Язык и социальная психология. – М., 1980. – 224 с.
- Ирисханова О.К.* О лингвокреативной деятельности человека: Отглагольные имена. – М., 2004. – 352 с.
- Карасик В.И.* Языковой круг: Личность, концепты, дискурс. – Волгоград, 2002. – 390 с.
- Караулов Ю.Н., Петров В.В.* От грамматики текста к когнитивной теории дискурса // Дейк ван Т. Язык. Познание. Коммуникация. – М., 1989. – С. 6–17.
- Категории искусственного интеллекта в лингвистической семантике: Фреймы и сценарии. – М., 1987. – 54 с.
- Кацнельсон С.Д.* Предложение и его смысл. – М., 1972. – 167 с.
- Краткий словарь когнитивных терминов / Под ред. Кубряковой Е.С. – М., 1996. – 245 с.
- Кронгауз М.А.* Семантика. – М., 2001. – 399 с.
- Кубрякова Е.С.* Начальные этапы становления когнитивизма: Лингвистика – психология – когнитивная наука // Вопр. языкознания. – М., 1994. – № 4. – С. 34–42.
- Кубрякова Е.С.* О понятиях дискурса и дискурсивного анализа в современной лингвистике // Дискурс, речь, речевая деятельность: Сб. обзоров. – М., 2000. – С. 7–25.
- Кубрякова Е.С.* Текст и его понимание // Рус. яз. – М., 1994. – № 2. – С. 18–27.
- Кубрякова Е.С.* Язык и знание. – М., 2004. – 560 с.
- Кузьмина Н.А.* Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка. – М., 2004. – 272 с.
- Лакофф Дж., Джонсон М.* Метафоры, которыми мы живем. – М., 2004. – 168 с.
- Лотман Ю.М.* Внутри мыслящих миров. – М., 1996. – 447 с.
- Лузина Л.Г.* Виды информации в дискурсе // Дискурс, речь, речевая деятельность: Сб. обзоров. – М., 2000. – С. 137–151.
- Лузина Л.Г.* Распределение информации в тексте: Когнит. и прагматист. аспекты. – М., 1996. – 136 с.
- Маслова В.А.* Введение в когнитивную лингвистику. – М., 2004. – 296 с.
- Минский М.* Фреймы для представления знаний. – М., 1979. – 151 с.
- Опарина Е.О.* Исследования метафоры в последней трети XX в. // Лингвистические исследования в конце XX в.: Сб. обзоров. – М., 2000. – С. 186–204.
- Опарина Е.О.* Язык – текст – культура // Дискурс, речь, речевая деятельность: Сб. обзоров. – М., 2000. – С. 152–170.
- Романовская Н.В.* Когнитивная и языковая способность как детерминанта перевода: Эксперим. исслед. – М., 2003. – 216 с.

- Слышкин Г.Г. От текста к символу. – М., 2000. – 128 с.
- Современная американская лингвистика: Фундаментальные направления. – М., 2002. – 480 с.
- Филиппов К.А. Лингвистика текста. – СПб., 2003. – 336 с.
- Филлмор Ч. Дж. Фреймы и семантика понимания // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1988. – Вып. 23: Когнитивные аспекты языка. – С. 52–92.
- Цурикова Л.В. Проблема естественности дискурса в межкультурной коммуникации. – Воронеж, 2002. – 257 с.
- Fauconnier G. Mental spaces. – Cambridge (Mass.), 1985. – 346 p.
- Fauconnier G., Turner M. The way we think: Conceptual blending and the mind's hidden complexities. – N.Y.: Basic books, 2002. – 440 p.
- Kintsch W. The role of knowledge in discourse comprehension and production // Psychol. rev. – Lancaster., 1988. – N 95. – P. 163–182.

В.А. Пищальникова, А.Г. Сонин, К.С. Карданова

НАУЧНЫЕ МОДЕЛИ СОЗНАНИЯ: ОТ ОБРАЗА К ПАТТЕРНУ АКТИВАЦИИ

Гюстав Гийом говорил: «...лингвистика не приносит никакой практической пользы. Среди всех наук лингвистика менее всего прагматична. С другой стороны, это та наука, которая наиболее продвигает нас вперед в познании средств, с помощью которых нашему мышлению удастся самому ясно понять свои собственные действия» (Гийом, 2004, с. 17). Модели сознания принадлежат именно к таким средствам. Они представляют собой конструкторы, задаваемые совокупностью произвольных параметров, характер и количество которых определяются исследовательской парадигмой, поставленными целями и задачами, спецификой анализируемого материала и рядом других факторов. Именно произвольность параметров при моделировании сознания стала причиной появления в науках о человеке значительного количества моделей, обладающих булышим или мйньшим объяснительным потенциалом.

Научные взгляды на структурные и содержательные характеристики компонентов модели эволюционировали в связи с изменениями методологических и теоретических установок, которыми руководствовались исследователи. Так, на протяжении XIX – первой половины XX в. научные модели сознания строились с опорой на господствующую в философии и отраслях знания о человеке теорию отражения. В середине XX в. наряду со сложившейся парадигмой начинается формироваться новая методологическая база исследования ментальных структур. В данной статье предпринимается попытка проследить эволюцию подходов к научному моделированию сознания и обозначить возможные пути уточнения структурно-содержательных характеристик образа сознания.

1. Исследование сознания на основе теории отражения

1.1. Научное осмысление сознания в психологических моделях

Первые психологические научные модели сознания строились с опорой на умозрительный объект, названный **образом**. Понятие образа активно использовалось уже в ассоциативной психологии XIX в. и служило основой для анализа мыслительной деятельности. Однако в начале XX в. ставшая доминирующей в западной науке бихевиористская парадигма надолго вывела за пределы научных исследований не только образы – «химеры», не обладающие, с точки зрения Дж. Ватсона, никаким функциональным значением, но и любые менталистские концептуальные построения (внимание, ментальные процессы и т.д.). Западный антиментализм не коснулся отечественной (советской) науки, в которой понятие образа играло ведущую роль, например, в культурно-историческом направлении психологических исследований. Его основоположник Л.С. Выготский указывал на заключенное в слове **обобщение** как «совершенно своеобразный способ отражения действительности в сознании» (Выготский, 2002, с. 291) (курсив наш. – В.П., А.С., К.К.). Дальнейшие исследования в области ментальных процессов и структур потребовали номинирования этого «своеобразного способа отражения», что привело к выделению конкретной единицы сознания – образа, характеристика которого была дана в трудах А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и др. исследователей.

Использование этой категории оказалось методологически необходимым в связи с попытками объяснить специфический характер человеческой деятельности, в которой выделялся особый «внутренний» план, развивавшийся из форм деятельности «внешней» (условность названия «внутренний» в данном случае осознавалась вполне) (Леонтьев А.Н., 1975). В соответствии с этой концепцией конечным продуктом деятельности по производству вещественных продуктов выступает чувственно воспринимаемый предмет. Фиксация *осуществленной деятельности* в этих вещественных продуктах сопровождается формированием их отображений – образов – в сознании индивида. Соотношение образов позволяет создавать «образы результата», «модели желаемого будущего»: «В мозгу сосуществуют в своего рода единстве противоположностей две категории (или формы) моделирования воспринимаемого мира: модель прошедше-настоящего, или ставшего, и модель предстоящего. Вторая непрерывным потоком перетекает и преобразуется в первую. Они необходимо отличны одна от

другой прежде всего тем, что первая модель *однозначна* и категорична, тогда как вторая может опираться только на экстраполирование с той или иной мерой *вероятности*» (Бернштейн, 1966, с. 288). В процессе предметной деятельности происходит постоянное сличение наличного представления (образа сознания) с производимым предметом: «...процесс вещественного воплощения предметного содержания деятельности... презентуется теперь субъекту, т.е. предстает перед ним в форме образа воспринимаемого предмета» (Бернштейн, 1966, с. 127). При этом сторонники этой позиции утверждают, что «образ... безотносительно к предмету, отображением которого он является, не существует. Мы воспринимаем не образы, а предметы в образах» (Рубинштейн, 1997, с. 25). Приведенные положения демонстрируют включение понятия образа в новую, ориентированную на анализ деятельности концепцию. Специфика человеческой деятельности объяснялась апперцептивным построением образа, но серьезные попытки раскрыть «внутренний» механизм его формирования (как идеальный объект возникает под воздействием объектов мира?) и его дальнейшего функционирования (как идеальный объект хранится и как влияет на материальную предметную деятельность?) не предпринимались. Авторы названных и ряда других трудов предлагают только самые общие рассуждения о «действии» образа в полном соответствии с теорией отражения, например: «психические явления возникают в процессе взаимодействия субъекта с объективным миром, начинающегося с воздействия вещи на человека» (Рубинштейн, 1997, с. 27) или: «представление, управляющее деятельностью, воплощаясь в предмете, получает свое второе, “объективированное” существование, доступное чувственному восприятию» (Леонтьев А.Н., 1975, с. 129).

Одна из первых попыток превратить образ в самостоятельный объект психологического исследования в рамках общепсихологической теории деятельности была предпринята А.Н. Леонтьевым. Как известно, ученый выделял три составляющих индивидуального сознания: **чувственную ткань**, благодаря которой образы реальности различаются «по своей модальности, чувственному тону, степени ясности, большей или меньшей устойчивости и т.д.» (там же, с. 133), **психологическое значение**, в котором представлена «идеальная форма существования предметного мира, его свойств, связей и отношений, раскрытых совокупной общественной практикой» (там же, с. 141), и **личностный смысл**, который рождается на базе ситуативного соотношения опыта и мотива деятельности. Онтологическое

единство компонентов сознания обуславливает их взаимные преобразования – формирование новых личностных смыслов на базе психологических значений и наоборот, – которые лежат в основании динамики развития сознания. А.Н. Леонтьев детально комментирует противопоставление психологического значения и личностного смысла, но чувственная ткань как характеристика образа сознания специфицируется недостаточно. Ученый указывает на то, что «обо всем этом написаны многие тысячи страниц», и отмечает лишь одну особую функцию чувственных образов – придавать «реальность сознательной картине мира, открывающейся субъекту», быть «чувственным составом конкретных образов реальности» (там же, с. 133–134), показать ему, что мир – это объективное поле вне сознания. Чувственная ткань, следовательно: а) порождается в практическом взаимодействии с внешним предметным миром как непосредственное впечатление от него; б) служит материалом, из которого строятся сознательные, предметные («значимые») образы; в) выполняет функцию свидетельствования о внешней реальности, функцию придания реальности сознательной картине мира.

Важно отметить, что для А.Н. Леонтьева образ не представляет конкретной **единицы сознания**. В своей концепции ученый опирается на понятие **образа мира** как интегративного «отображения в психике человека предметного мира, опосредствованного предметными значениями и соответствующими когнитивными схемами и поддающегося сознательной рефлексии» (цит. по: Леонтьев А.А., 1983, с. 268). Основным свойством образа мира является его амодальность, или актуализация не только тех свойств предмета, которые обнаруживаются индивидом в процессе его деятельности, но и тех, которые непосредственно не взаимодействуют с индивидом. Благодаря этому образ мира является универсальной формой организации знаний индивида. Однако внимание человека одновременно может быть сконцентрировано только на одном «ситуативном фрагменте», «"высвечивается" отдельный предмет, а затем внимание и сознание переключается на другой – и так без конца» (Леонтьев А.А., 1983, с. 269). Одновременно это «переключение предполагает переход предмета (его означенного образа) с одного уровня осознанности на другой» (там же), поскольку образ мира, как и сам мир, многомерен. Перечисленные признаки указывают на субъективность образа мира. Но соотносимость индивидуальных деятельностей в единой культурной среде обуславливает появление общих компонентов сознания. Кроме того, объективность образа мира достигается тем, что познание чело-

веком действительности опосредовано единой для всех представителей социума, усваиваемой в процессе социализации системой значений. «...Индивид не имеет собственного языка, вырабатываемых им самим значений; осознание им явлений действительности может происходить только посредством усваиваемых им извне *«готовых» значений* – знаний, понятий, взглядов, которые он получает в общении, в тех или иных формах индивидуальной и массовой коммуникации» (Леонтьев А.Н., 1975, с. 154).

1.2. Уточнение содержания образа как объекта психологического исследования в середине XX в.

Модель образа сознания А.Н. Леонтьева принята в современной психологии и психолингвистике в качестве базовой и выступает методологической опорой в абсолютном большинстве исследований сознания. Однако существуют попытки ее расширения, уточнения и дополнения.

Так, Ф.Е. Василюк отмечает, что в некоторых случаях леонтьевское понятие образа позволяет довольно точно описать экспериментальные факты, но далеко не всегда (Василюк, 1993). Это связано, по мысли ученого, именно с недостаточно четко определенным содержанием чувственной ткани как образующей образа сознания. Если, по А.Н. Леонтьеву, она рассматривается как материал, из которого строится перцептивный образ, то Ф.Е. Василюк акцентирует: сам материал, из которого строится образ, не обладает спонтанной активностью и внутренней осмысленностью, он «извне кроится и организуется перцептивной деятельностью, которая придает ему форму и разумность»; «чувственная ткань выступает не пассивным материалом для образа, а активной порождающей образ материей» (Василюк, 1993, с. 7). Чувственная ткань, утверждает Ф.Е. Василюк, – «не пришедшее извне впечатление, а поднимающаяся изнутри чувственность; она не послушный материал для образа, а бурлящая магма, рождающая формы и мысль; ей нет дела до придания реальности картине мира, поскольку она феноменологически первореальность» (там же). Существующее понятие чувственной ткани, продолжает Ф.Е. Василюк, фиксирует только часть, только один аспект той реальности, которая в целом заслуживает этого названия. Ученый предполагает, что внутреннее пространство сознания состоит из некоторой недифференцированной чувственной ткани, и она является многомерной субстанцией.

В ней внешний мир представлен предметным содержанием, мир культуры – значением, представителем является слово, а внутреннего мира – личностный смысл. Пространство, «объем» образ-тетраэдра заполнен «живой, текучей, дышащей плазмой чувственной ткани. Чувственная ткань живет и движется в четырехмерном пространстве образа, задаваемом силовыми полями его узлов, и, будучи единой, она вблизи каждого из полюсов как бы уплотняется, концентрируется, приобретает характерные для данного измерения черты» (Василюк, 1993, с. 8). Чувственная ткань, как и другие компоненты модели-тетраэдра, в определенных видах деятельности, в том числе и речевой, может стать доминантой образа сознания. Ф.Е. Василюк подчеркивает главное отличие его модели от модели А.Н. Леонтьева: чувственная ткань, будучи «представителем мира человеческого тела в образе сознания» и «непосредственным внутренним чувствованием», является динамическим органом, «который, собственно, **осуществляет в образе функцию интегрирования**» (Василюк, 1993, с. 18).

При всей привлекательности представленной модели, акцентирующей соматическую детерминанту процессов деятельности, способы определения (и отграничения) «типа» чувственной ткани, ее специфики, соотношения ее с другими компонентами образа сознания и их возможные зависимости Ф.Е. Василюком не выявляются. Кроме того, в модели смешивается четырехмерность представленной в образе картины мира и четырехмерность самого образа как идеального объекта. Поэтому образ сознания в таком «расширенном» виде не может служить операциональной единицей анализа деятельности. Если процедуры вычленения параметров модели не определены, если не заданы их основные характеристики, то такая модель не является эффективным средством познания объекта. Вместе с тем представление о том, что любой образ, даже образ, связанный с идеей высшей степени абстрактности, всегда воплощен в чувственном материале, всегда возникает в результате взаимодействия «ансамбля» осознаваемых и неосознаваемых телесных движений и чувствований, является весьма продуктивной для углубления понимания сознания и образа как его «единицы».

Специфический компонент образа – **биодинамическую ткань** – вычленяет В.П. Зинченко, основываясь на теории построения движений Н.А. Бернштейна, который рассматривал «живое движение» и «предметное действие» не только как функцию скелетно-мышечного аппарата, но и как особый функциональ-

ный орган, обладающий собственными морфологическими свойствами и реактивностью. Биодинамическая ткань – это наблюдаемая и регистрируемая внешняя форма живого движения, это материал, из которого строятся целесообразные, произвольные движения и действия. По мере их формирования внутренняя форма, внутренняя картина таких движений и действий становится все более сложной. Она обогащается когнитивными, эмоционально-оценочными, смысловыми образованиями. Чувственная ткань также представляет собой «строительный материал образа». Как биодинамическая, так и чувственная ткани, составляющие материю движения и образа, обладают свойствами реактивности, чувствительности, пластичности, управляемости и теснейшим образом связаны со значением и смыслом. Оба вида ткани образа обладают свойством обратимости и трансформируются одна в другую (Зинченко, 1997). Однако введение нового существенного компонента в структуру образа не было связано с попытками его операционализации.

1.3. Образ сознания как категория отечественной психолингвистики

Одна из первых попыток операционализации понятия образа была предпринята представителями Московской психолингвистической школы. Отечественная психолингвистика (теория речевой деятельности) – идейная и методологическая «наследница» культурно-исторического направления психологии – переняла понятийный аппарат теории деятельности и, в частности, понятие образа как необходимую составляющую интерпретации речевой деятельности. Приобретая новую функцию в психолингвистической парадигме, термин трансформируется в «образ сознания», а в 1985 г. – в «образ языкового сознания», исследование которого в настоящее время осуществляется более интенсивно, чем изучение традиционного психолингвистического объекта – речевая деятельность. Если А.А. Леонтьев (Леонтьев, 1993) утверждал, что человеческое сознание является по сути своей языковым, то теперь языковое сознание стало рассматриваться как «совокупность **образов сознания**, формируемых и овнешняемых при помощи языковых средств – слов, свободных и устойчивых словосочетаний, предложений, текстов и ассоциативных полей» (Тарасов, 2004, с. 36). Иными словами, Е.Ф. Тарасов сводит изучение языкового сознания исключительно к анализу языковых единиц, которые полагаются

«овнешнителями сознания». Несмотря на принципиальные методологические отличия введенного Е.Ф. Тарасовым объекта, понятие образа сознания «перекочевало» в психолингвистические работы без каких-либо оговорок. Парадоксально, но в подавляющем большинстве работ по изучению «языкового сознания» исследователи подробно описывают образ по А.Н. Леонтьеву, но при этом анализ его производится с позиций языкового сознания по Е.Ф. Тарасову, хотя позиции этих исследователей принципиально отличаются. Абсолютное большинство исследований образов сознания по сути сводится к анализу лексического значения слова-ассоциата и к перечислению возможных представлений / знаний о реалиях, которые могут стоять за словом-ассоциатом в рамках данной лингвокультурной общности. (Ср.: А.Н. Леонтьев полагал, что языковое значение – только один из видов психологического значения.) Способы же **действия со словом**, порождающие специфику конкретного образа, не исследуются. Кроме того, при смещении акцента на языковое сознание из поля внимания исследователя исчезает динамика взаимодействия составляющих образа, а именно это, на наш взгляд, являлось принципиальным положением концепции А.Н. Леонтьева. В результате образ рассматривается как некоторый статичный компонент сознания, исследование которого возможно исключительно в синхронии, а динамикой развития образа, как правило, называется сравнение результатов ассоциативного эксперимента либо по разным возрастным группам, либо проведенным с перерывом в несколько лет в одной группе. Практически структурно-содержательные характеристики образа в рамках концепции языкового сознания устанавливаются на основе отождествления их со структурно-содержательными параметрами лексического значения слова. Выделение последних в лингвистике возможно с помощью ряда процедур семантического анализа (например, компонентного анализа), откуда создается впечатление операциональности и «образа языкового сознания». Но сущности образа языкового сознания как специфического психолингвистического объекта такая операциональность не выявляет.

1.4. Операционализация образа в зарубежной когнитивистике

Западная наука, выдержав долгую, длинной в полстолетия, бихевиористскую паузу, вернулась к категории образа в середине 60-х годов прошлого века. Это не было возвращением в собствен-

ном смысле слова. О возвращении можно говорить лишь по отношению к термину, но не к его трактовке. Представители формировавшейся в то время когнитивистики (Bruner, 1964; Neisser, 1967; Piaget & Inhelder, 1966) отказались от характерного для ассоциативной психологии взгляда на образ как на остаточную форму ощущения. Новое поколение исследователей видело в нем продукт символической деятельности субъекта. Среди посвященных образу работ того времени особое место занимают исследования А. Пэйвио (Paivio, 1971; Paivio, 1975). Изучая работу человеческой памяти, ученый обнаруживает, что образный потенциал слов (их способность вызывать ментальные образы) оказывает определяющее влияние на процессы их запоминания. Это позволяет ему заключить, что в ходе обучения человек может усваивать получаемую информацию двумя способами: при первом акцент делается на вербальные ассоциации (например, в случае со словом «поэзия»), при втором – на создание ментального образа, репрезентирующего слово (например, для слова «жонглер»). Так рождается теория двойного кодирования, согласно которой когнитивная деятельность индивида управляется функционированием двух систем, или двумя видами символической репрезентации.

В отличие от российской науки, в которой целесообразность использования категории образа практически не дискутировалась, заключения А. Пэйвио уже в начале 70-х годов вызвали жесткую критику со стороны ученых, полагавших, что психология должна постулировать существование абстрактной формы, которая не эквивалентна ни образным, ни вербальным репрезентациям и лежит при этом в основе и тех, и других (Anderson & Bower, 1973; Chase & Clark, 1972; Pylyshyn, 1973; Rumelhart, Lindsay & Norman, 1972). Другими словами, было предложено считать образы побочными продуктами когнитивной деятельности и сместить акцент с их феноменологических свойств на лежащие в их основе **глубинные структуры**. Многие авторы полагали, что в когнитивной модели репрезентации обязательно должен быть формат представлений, в который могут быть вписаны все формы знания. Постепенно идея существования общей «базы», в которой наглядные и вербальные стимулы активируют один и тот же амодальный семантический код, становится центральной.

Теоретические баталии по поводу базовой формы ментальной репрезентации, не нашедшие, к сожалению, отражения в отечественной науке, послужили мощнейшим импульсом для даль-

нейшего уточнения образа как специфического объекта когнитивистики. Так появляется компромиссная модель Маршарка, допускающая существование уровня, на котором знание записано в концептуальной форме, позволяющей пропозициональный анализ, и уровня, на котором знание может быть актуализировано модально во временных ментальных представлениях. В некотором смысле, это новая версия теории «двойного кодирования», в которой две системы репрезентации не функционируют параллельно, а находятся в функциональных отношениях субординации (Marschark, Richman, Yuille & Hunt, 1987). Образный когнитивный «модуль» рассматривается здесь как одно из орудий мышления, как средство наглядности значения высказывания, а вовсе не как его обязательный элемент, как продукт системы обработки, но не как форма хранения информации в долгосрочной памяти, как «модель» с которой могут осуществляться некоторые операции, не реализуемые с другими типами представлений.

Другой путь предложен С. Косслином (Kosslyn & Pomerantz, 1977), полагающим, что принятие гипотезы о существовании амодальной базы репрезентации не снижает значимости исследований специфических свойств образных представлений. Как и многие его коллеги, он опирается на пропозиции, но не для описания самих образов как специфических феноменов когнитивной деятельности, а для описания их инфраструктуры и модальности их кодирования в долгосрочной памяти. Если соглашаться с большинством исследователей в том, что образы вырабатываются на основе амодальной базы, то, как считает Косслин, необходимо смоделировать специфические механизмы их образования. Так появляется понятие зрительного «буфера», на основе которого эксплицируется построение образов по отношению к определенным зонам его активации. Отдельно рассматриваются четыре группы процессов, которые могут применяться к образам: а) процессы, позволяющие индивиду порождать образы и обеспечивать их временное удержание в зрительном буфере; б) процессы анализа построенных образов; в) процессы применения к образам различных трансформаций; г) процессы использования индивидом образов для решения задач. Даже не разбирая детально богатейшее теоретическое наследие этого ученого, можно утверждать, что его важнейшая заслуга состоит в том, что своими работами он показал бесплодность дальнейшего использования в когнитивных исследованиях неопределенного или метафорического терминологического аппарата для анализа ментальной репрезентации и процессов ее построения. Эти психические феномены имеют специфи-

ческие параметры, которые могут измеряться, что ведет исследователя образов к необходимости строгой концептуализации и использования максимально точной терминологии. Образы – это когнитивный продукт, компоненты и внутренняя структура которого должны определяться и анализироваться эксплицитно и детально, с выдвижением гипотез об их инфраструктуре и о когнитивном модуле, их порождающем, с обращением к данным нейрофизиологических наблюдений (в частности результатов, показывающих, что использование ментальных образов задействует общие со зрением зоны мозга и что специфические нарушения в мозговых функциях влияют на способность порождать ментальные образы так же, как и на зрение).

Большой резонанс в западной науке получила еще одна концепция, развивающая идею аналогической репрезентации, – теория ментальных моделей (Johnson-Liard, 1983). Эта теория может рассматриваться как еще одна попытка соединить идеи символической репрезентации с принципом структурного изоморфизма между представляемым и представляющим мирами. Ментальные модели – вариант символической репрезентации, однако их структура аналогична ситуации, описываемой во фразе, а не структуре самой фразы. Построение пропозициональной репрезентации близкой по структуре к поверхностной форме текста является лишь первым этапом в его понимании. На втором этапе система пропозициональных репрезентаций трансформируется на основе определенного набора процедур в ментальную модель. Основываясь на лингвистических репрезентациях и строясь на основе знаний субъекта, ментальные модели обладают динамической структурой, которая начинает формироваться одновременно с началом чтения текста, а затем обогащается и перестраивается. Таким образом, ментальные модели, построенные на основе одной фразы, служат контекстом для интерпретации последующих фраз. При этом структурный изоморфизм с репрезентируемой ситуацией не приравнивает ментальную модель к образу. Образ и создаваемая на его основе ментальная модель представлены как два разных типа репрезентации: ментальные модели являются структурными аналогами окружающего мира, а образы – перцептивными коррелятами модели, рассматриваемой с некоторой частной точки зрения (Johnson-Laird, 1983, с. 165). Пространственная ментальная модель подобна трехмерному макету, используемому в архитектуре, она может быть визуализирована с разных точек зрения (с порождением соответствующих образов), но не может быть визуализирована одновремен-

но с нескольких точек. Трехмерные ментальные модели используются субъектом как «рабочее пространство» и позволяют ему «вычислять» не эксплицированные в тексте отношения.

Стремление к жесткой операционализации образа привело когнитивистов к установлению однозначной зависимости между языковыми единицами и структурой ментальных объектов, что логически привело к поиску атомарной единицы сознания.

2. Формирование новой методологической основы структурного и содержательного исследования сознания

2.1. Попытки операционализации исследования содержания сознания

Представленные концепции показывают, что операционализация сознания в рамках отражательной теории существенно затруднена. Одна из попыток формирования нового подхода к анализу содержания сознания отражена в представлении о языке как достоянии индивида А.А. Залевской и, в частности, в развитии ученым идей так называемой «корпоральной семантики» (Залевская, 2004, с. 57–64). Наиболее существенными положениями своей концепции А.А. Залевская считает следующие:

– «Язык ничего не значит сам по себе, он паразитирует на невербальных знаках, которые представляют собой тактильные, обонятельные, вкусовые, слуховые, зрительные и другие “перцептивные прочтения” мира и их фантазийные варианты, функционирующие при сенсорно-аффективно-ментальном взаимодействии на разных уровнях осознаваемости, т.е. означаемые естественного языка требуют тела и эмоций для того, чтобы стать семантически функциональными» (Залевская, 2004, с. 57).

– «Семиозис как нейробиологическая способность человека возможен только на основе взаимодействия тела, мозга и культуры» (там же).

– «Соотношение между языком и образом мира контролируется “достаточным семиозисом”, который реализуется под контролем правил, устанавливаемых сообществом» (там же).

Анализируя работы У. Матураны, А. Менегетти, Л.М. Веккера, М.А. Холодной, Е.Э. Газаровой, А.А. Залевская делает вывод о том, что **оперирование языковыми значениями невозможно в отрыве от единой перцептивно-когнитивно-аффективной памяти индивида, включенного в социум (и ши-**

ре – в культуру). При таком подходе становится возможной операционализация образа на основе включения в его описание физиологических и психологических параметров, проверяемых экспериментально.

Еще в период становления теории речевой деятельности В.М. Павлов подчеркивал, что необходимо **преодолеть** глубоко укоренившееся у многих лингвистов **предубеждение против обращения к исследованию психологических, физиологических и других закономерностей для уточнения объекта языкознания**. Он полагал, что в построении нового объекта языковедения необходимо учитывать и «физиологические, мозговые звенья причинного ряда», позволяющие достроить этот объект «снизу». В.М. Павлов рассматривал **языковой знак как нервный код в мозгу индивида. Содержание языкового знака он рассматривал как отражение объективных свойств вещей реального мира в виде некоторого нервного кода**. «Взаимодействие корковых представительств всех анализаторных аппаратов, участвующих в целостном отражательном процессе, обеспечивает замыкание связей между комплексным физиологическим образом действительных, объективных свойств внешней вещи (объекта) и акустическим образом знака, относимого в данном языковом коллективе к данному объекту... Образованную таким образом элементарную знаковую систему назовем ассоциативным комплексом отдельного знака или – резко, но только с чисто лингвистической стороны неправильно, упрощая отношения – отдельного слова. Это действительно элементарная знаковая система, так как только при ее формировании акустический образ приобретает свойства знака» (Павлов, 1967, с. 59). В.М. Павлов подчеркивал, что содержание психического образования, представленное в языковой форме, «определенным образом структурируется и комплексируется в ориентации на знак (и его место в системе знаков)» (там же).

Следует обратить внимание и на то, что на этапе становления теории речевой деятельности нейролингвистика не исключалась из нее как одна из составляющих, способных существенно повлиять на представления о сущности речевой деятельности. Так, в одном из основополагающих монографических исследований, изданных под общей редакцией создателя теории речевой деятельности А.А. Леонтьева, содержится особая часть – «Нейролингвистика», написанная А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой и Т.В. Рябовой (Теория речевой деятельности, 1968).

Попытки трактовки языка как регулятивного механизма деятельности, в котором осуществляется переработка всех сенсорно-аффективно-когнитивных форм деятельности и образуется их **интегративная форма – языковая**, не прекращаются и в современной науке. Многие исследователи солидарны в том, что в формировании языковой способности огромную роль играет программа обобщения всех внешних и внутренних воздействий, перерабатываемых мозгом. Это аргументируется и целым рядом **современных нейрофизиологических** исследований животных и человека. Так, в многочисленных опытах **У. Дж. Фриман** показал, что «мозг – это хаотическая система, которая не только «фильтрует» и «перерабатывает» импульсы, приходящие от органов чувств. Он *активно ищет* чувственные стимулы как исходный материал (сырье), из которого *создаются воспринимающие паттерны с помощью сознания*, которое вновь формирует индуцированную стимулами активность» (Фриман, 2004, с. 14) (курсив наш. – В.П., А.С., К.К.). Исследуя движение, У. Дж. Фриман установил, что моторная команда, активирующая соответствующие моторные системы, сопровождается множеством «посланий» **во все** центральные сенсорные системы, что подготавливает их изменения в сенсорном входе – **налицо мультимодальная конвергенция форм восприятия**. Такая конвергенция характерна для деятельности мозга человека. «Образы памяти не “запасаются и восстанавливаются” нервной системой, как это представлено в компьютерных системах. Построение паттерна вслед за вызванной стимулом бифуркацией в сенсорной коре *не является* представлением стимула. Паттерн строится с помощью как воспоминания обстоятельств прошлого опыта, так и осознания текущей значимости стимула для субъекта, его получающего» (Фриман, 2004, с. 17). (Ср. с В. фон Гумбольдом: слово необходимо для преобразования «низших форм мысли в понятие» и, следовательно, должно появляться тогда, когда «в душе уже есть материалы, предполагаемые этим преобразованием».) Нейрофизиологические и когнитивные исследования подтверждают практически общепринятую в современной науке мысль об интегративной деятельности мозга, о том, что «...обобщенность является сквозной характеристикой всех видов и уровней психического отражения...» (цит. по: Залевская, 2004); обнаружение совпадений и генерация гипотез признаются элементарной функцией коры головного мозга (Моллер, Гросс, 2004). Так, Ж. Фоконье говорит о концептуальной интеграции как универсальной базовой менталь-

ной операции, обеспечивающей успешность процессов познания и общения. Концептуальная интеграция осуществляется как идентификация, а затем интеграция элементов / компонентов разных ментальных пространств как наборов активированных нейронных ансамблей. Эта базовая ментальная операция нейрофизиологически обуславливает процесс порождения нового смыслового образования (подробнее об этом см.: Герман, 2000; Пищальникова, 2003). Таким образом, манипулятивная функция языка задается и единством сенсорно-аффективно-когнитивных процессов, интегрирующихся в формах языка.

Здесь нельзя не вспомнить о ставшем классическим исследовании семантического пространства Ч. Осгуда. Ч. Осгуд установил несколько размерностей семантического пространства, оказавшихся универсальными для разных языков и культур: *оценка, сила, активность* (Osgood, 1962). Позже к этим размерностям были добавлены *обычность* (Bentler, La Voie, 1972), *развитие, реальность, плотность* (Rosch, 1978). Интереснейшие эксперименты И.Н. Трофимовой, сотрудника лаборатории коллективного интеллекта МакМастерского университета (Канада), позволили предположить существование феномена, который мы называем «*проекция способностей*» (курсив автора. – В.П., А.С., К.К.). Этот феномен проявляется тогда, когда человек воспринимает, регистрирует и ценит преимущественно те аспекты объектов или ситуации, в отношении которых он может адекватно реагировать и действовать соответственно своим способностям. *Организм выделяет в восприятии те особенности стимулов, которые он может использовать в активности и которые определяют, какую из имеющихся стратегий, какие из имеющихся ресурсов использовать* (Трофимова, 1997) (курсив наш. – В.П., А.С., К.К.); «Наш организм ожидает от объектов преимущественно тех свойств, с которыми он лучше всего готов справиться» (Трофимова, 1997, с. 74). И.Н. Трофимова утверждает, что «категоризация стимулов зависит от состояния организма как носителя этих ресурсов и способностей». (Попутно заметим, что эксперименты И.Н. Трофимовой свидетельствуют о том, что перед любым ассоциативным или иным психолингвистическим экспериментом необходимо проводить экспериментальную проверку темперамента испытуемых, и все эксперименты обязательно проводить на разных возрастных группах.) Сравнение факторов активности, силы, оценки и др. в семантических пространствах людей контрастных темпераментных и возрастных групп показало, что, например, экстраверсия, энергичность и гибкость активности связаны с тенденцией приписывать более актив-

ные и энергетические оценки нейтральным и абстрактным объектам. Высокий нейротизм связан с приписыванием объектам негативности, пассивности, слабости и неорганизованности. Люди с высоким темпом общемоторной активности оценивают объекты как более позитивные и активные. А люди с высокой степенью социальной и вербальной активности оценивали объекты как более определенные, известные и упорядоченные и т.д. (Трофимова, 1997).

Представленная позиция хорошо согласуется с аргументами У. Матураны и Ф. Варелы (Матурана, Варела, 2001). Ученые акцентируют: «... *весь когнитивный опыт включает познающего на личностном уровне, коренится в его биологической структуре*. Поэтому опыт обретения уверенности есть явление индивидуальное. Этот опыт слеп к когнитивным актам других индивидуумов» (Матурана, Варела, 2001, с. 14.) (курсив наш. – В.П., А.С., К.К.). Матурана и Варела подчеркивают мысль, ставшую одним из базовых положений современной квантовой физики и синергетики: свойства предметов зависят от их «измерителей», в том числе и приборов / инструментов. (Об этом подробнее см.: Герман, 2000.) Восприятие мира цветных объектов, на анализе которого ученые показывают эту зависимость, не определяется буквально спектральным составом света: «...цветовое восприятие соответствует специфическому паттерну возбуждений в нервной системе, определяемому структурой цвета» (Матурана, Варела, 2001, с. 20). Существуют корреляции между названием цвета и состоянием нейронной активности, но *нет корреляций* между названием цвета и длиной световой волны, воспринимаемой индивидом. Это означает, что языковой элемент соотносится только с преобразованной реальией, с превращенной формой действительности – психической, и прямых ассоциаций реалья – слово нет – они всегда опосредованы способом, характером интериоризации реальности, характером ее психического образа. Как показывают эксперименты, некое вполне определенное состояние нейронной активности может вызываться, например, красным цветом и другими световыми эффектами, но не словом *красный*, актуализация которого ведет к возбуждению другого паттерна нейронной активности. Это справедливо и для других визуальных характеристик. «Мы не видим “пространство” мира, мы проживаем поле нашего зрения», – заключают У. Матурана и Ф. Варела (там же), мы не видим цветов реального мира, мы проживаем наше собственное хроматическое пространство. Варела и Сингер утверждают: 80% информации, получаемой клетками

зрительной зоны коры больших полушарий, исходит не от ретины, а от тесно связанных между собой различных зон мозга. Даже на самой периферии зрительной системы информация, которую получает мозг от глаза, в значительной степени связана с активностью коры больших полушарий. Взаимодействие этих двух процессов нейронной активности приводит к возникновению новой когерентной конфигурации, зависящей от резонанса между сенсорной активностью и внутренней конфигурацией коры. Воспринимаемое в большей степени связано с организацией воспринимающего субъекта, нежели со свойствами внешнего мира. «Полученные из опыта данные о мире *особым образом утверждаются структурой человека, в результате чего мы получаем представление о “вещи” и возможность описать ее*»; «Любая рефлексия... неизбежно осуществляется в пределах языка... По этой причине язык также является нашей отправной точкой, нашим когнитивным инструментом» (Матурана, Варела, 2001, с. 23) (курсив наш. – В.П., А.С., К.К.); «сколь бы обширным ни был наш опыт, рождение мира связано с самыми глубокими корнями нашего когнитивного бытия» (Матурана, Варела, 2001, с. 240).

Возможность операционализации образа с опорой на физиологические и психические детерминанты его структуры и содержания может быть реализована на базе коннекционистских моделей сознания, которые выгодно отличаются от символических не только большей экономичностью, но и соответствием еще одному важному ограничительному принципу – нейрофизиологической достоверности. Коннекционистские модели построены на имитации функционирования нервной системы человека.

Представители классической парадигмы предлагают модели, в которых ментальные репрезентации – это символические структуры, включающие компоненты, которые обладают неким внеконтекстным значением, а ментальные процессы – манипулирование этими компонентами, регулируемое набором правил. Методологическая значимость коннекционистского подхода заключается в том, что они отвергают автономный символ как носитель смысла. Краеугольный камень коннекционистских работ – рассредоточенные, разложимые, гибкие репрезентации. С точки зрения коннекционистов, ментальные репрезентации – это паттерны (относительно стабильные узоры) активации в сети, состоящей из элементарных узлов, не поддающихся семантической интерпретации (соответственно паттерны не имеют семантически интерпретируемых компонентов), а

ментальные процессы рассматриваются как распространение активации этих паттернов. Другими словами, репрезентации рассредоточены между многими узлами, а каждый узел участвует в функционировании многих репрезентаций (Bechtel & Abrahamsen, 1990). Отмеченная гибкость – важнейшая характеристика имитируемой сетями нервной системы – позволяет воспроизводить в них функционирование самых разных ментальных объектов, постулируемых когнитивистикой, в том числе фрагментов образной репрезентации. Эта возможность обеспечивается тем, что в качестве компонентов сети, участвующих в создании репрезентации, могут фигурировать разнообразные следы взаимодействий системы со средой. При доминировании среди узлов, составляющих репрезентацию, следов перцептивного опыта (в частности, зрительного) последняя может характеризоваться как образное представление.

Заметим, что сама идея рассредоточенной репрезентации не является новой для отечественной науки. Уже в 60-е годы А.А. Леонтьев выдвигал и обосновывал гипотезу о рассредоточенном «содержании слова», о «записи» значения в сознании индивида в форме правил его порождения. Сходные идеи можно обнаружить в лингвистической концепции ассоциативно-вербальной сети Ю.Н. Караулова, в которой содержится содержательно-структурное описание сознания (Караулов, 1999; Караулов, 2004). Ученый не раз акцентировал, что «ассоциативный тезаурус представляет собой способ фиксации ассоциативно-вербальной сети, лежащей в основе *языковой способности* носителя языка» (Караулов, 1999, с. 70) (курсив наш. – В.П., А.С., К.К.), а не просто устанавливающей («отражающей») некие корреляции между отражаемой действительностью и единицами языка. Ассоциативный тезаурус – модель ассоциативно-вербальной сети. Именно такое понимание ассоциативно-вербальной сети позволяет исследовать ее и фиксированные в ней ментальные содержания не в статике, а в известной процессуальности: «Как только мы подходим к фактам языка с точки зрения языковой способности, мы покидаем системно-детерминистский мир привычного представления языкового строя, его грамматики и лексики и вступаем в *вероятностный мир языковой личности*» (Караулов, 1999, с. 7) (курсив наш. – В.П., А.С., К.К.). И в другом месте: «Ассоциативно-вербальная сеть ... должна восприниматься не как застывшее, раз и навсегда зафиксированное переплетение семантико-синтаксических связей между составляющими ее словами-узлами, но как перманентная деятельность, как никогда не прекращающаяся осцилляция форм между грамматикализацией лексики и лексикализацией морфологии и син-

таксиса» (Караулов, 1999, с. 35). Ассоциативно-вербальная сеть, по Ю.Н. Караулову, – *аналог языковой способности, но не аналог «фрагмента сознания», хотя по ней и можно моделировать те или иные аспекты фрагментов сознания.*

Из ассоциативно-вербальной сети можно извлекать любой тип отношения языковых знаков, поскольку она фиксирует любые способы языкового познания. Ассоциативно-вербальные сети характеризуются измерениями разной глубины: они могут быть смоделированы с учетом самых различных отношений входящих в ассоциативное поле компонентов. Так, говоря об ассоциативной грамматике, извлекаемой исследователем из ассоциативного тезауруса, Ю.Н. Караулов выделяет три уровня ее анализа: «семантико-синтаксический, или уровень грамматики в узком смысле слова, раскрываемый во взаимоотношениях словоформ (*черный портфель, черный пес, черный плащ* и т.д.); уровень языковой картины мира, или когнитивный, раскрывающий взаимосвязи лексем в плане “язык – мир” (*черная суббота, черная дыра, черный кобель*); уровень прагматики, характеризующий взаимоотношения человека с миром – “человек в мире” – (*черный ворон, Саша Черный, черный – (это) траур*)» (Караулов, 1999, с. 46). Такой трехуровневый анализ грамматики еще не содержит ее психолингвистической интерпретации, но, на наш взгляд, является необходимым для четвертого уровня – психолингвистического анализа полученных данных в рамках конкретной вербальной деятельности.

Специфика коннекционистских моделей заключается в их способности отражать важнейшее свойство живых систем – способность реагировать на воздействие внешнего мира, перестраивая свою структуру в рамках, ограниченных их организацией. Как следствие, содержание параметров образа должно определяться взаимодействиями индивида с действительностью: его перцепциями, акциями и эмоциями, в том числе и опосредованными вербально. В связи с этим могут быть выделены следующие типы компонентов образа. Компоненты первого типа соответствуют следам перцептивного опыта индивида, компоненты второго типа связаны с практической деятельностью индивида, которая определяет развитие когнитивных функций человека, заставляя его воспринимать в первую очередь то, что представляется важным для выполняемой деятельности. Третий тип – эмоциональные компоненты, без которых формирование образа немислимо. (Последний тип наиболее последовательно представлен в: Кинцель, 2000; Пищальникова, 1999.) Поскольку специфика ментальных процессов в значительной степени обусловлена использованием языка, лексиче-

ской сети – четвертому типу компонентов – приписывается важная роль в создании связей между концептами и в структурировании образов (концептов).

В работах В.А. Пищальниковой предлагается детализованная интерпретация одной из составляющих ментальной репрезентации – концепта, который представлен в рассредоточенном виде и включает в качестве компонентов **эмоцию, оценку, понятие, предметное содержание, ассоциации, представление, тело знака (слово)** (Пищальникова, 1999; Пищальникова 2001).

Свое развитие эта идея получает в сетевой коннекционистской модели, построенной А.Г. Сониным (Сонин, 2005). Основная задача, решаемая при этом автором модели, заключается в вычлениении генетически базовых составляющих сознания. Представлениям в модели А.Г. Сонины соответствуют базовые **перцептивные компоненты** ассоциативной сети, предметному содержанию – **моторные компоненты**, в основу оценки закладываются так называемые **аффективные компоненты**, тело знака (его образ) выносятся в лексическую сеть, понятие не рассматривается как элементарный компонент концепта, а скорее как операционализированный продукт дальнейшей концептуализации, и, наконец, ассоциация воспринимается не как специфический компонент концепта, а как указание на связь концепта с другими концептами (Сонин, 2005 а, с. 68–69).

В представленных теоретических построениях не только охарактеризована природа отдельно взятых концептуальных единиц (концепт, ментальная репрезентация, образ сознания и пр.), но и эксплицированы те связи, которые объединяют их в единое концептуальное пространство. В этом упомянутые модели сближаются с концепциями западных исследователей-когнитивистов (см. обзоры в: Залевская, 2005; Сонин, 2002; Сонин, 2005а).

Таким образом, коннекционизм позволяет интегрировать достижения предшествующих концепций, построенных в рамках теории отражения, обеспечивая при этом необходимую гибкость моделей сознания.



Рис. 1. Структура концепта

Список литературы

- Анохин П.К. Узловые вопросы теории функциональных систем. – М., 1980. – 196 с.
- Анохин П.К. Философский смысл проблемы интеллекта // Синергетика и психология. – М., 2004. – С. 301–320.
- Аршинов В.И., Буданов В.Г. Синергетика постижения сложного // Синергетика и психология. – М., 2004. – С. 82–127.
- Бернштейн Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности – М., 1966. – С. 349.
- Василюк Ф.Е. Структура образа (К 90-летию со дня рождения А.Н. Леонтьева) // Вопр. психологии. – М., 1993. – № 5. – С. 5–20.
- Выготский Л.С. Мышление и речь. – М., 2002. – 416 с.
- Герман И.А. Лингвосинергетика. – Барнаул, 2000. – 168 с.
- Гийом Г. Принципы теоретической лингвистики. – М., 2004. – 224 с.
- Горелов И.Н. Избранные труды по психолингвистике. – М., 2003. – 320 с.
- Залевская А.А. О комплексном подходе к исследованию закономерностей функционирования языкового механизма человека // Психолингвистические исследования в области лексики и фонетики. – Калинин, 1981. – С. 29–45.
- Залевская А.А. Телесность / корпоральность и значение слова // Языковое бытие человека и этноса: Психолингвистический и когнитивный аспекты. – М.; Барнаул, 2004. – С. 57–65.
- Зинченко В. П. Миры сознания и структура сознания // Вопр. психологии. – М., 1991. – № 2. – С. 15–37.
- Зинченко В.П. Посох Осипа Мандельштама и Трубка Мамардашвили: К началам органической психологии. – М., 1997. – 334 с.
- Караулов Ю.Н. Типы коммуникативного поведения носителя языка в ситуации лингвистического эксперимента // Этнокультурная специфика языкового сознания. – М., 1996. – С. 71–102.
- Караулов Ю.Н. Ассоциативная грамматика и ассоциативно-вербальная сеть. – М., 1999. – 180 с.
- Караулов Ю.Н. Показатели национального менталитета в ассоциативно-вербальной сети // Языковое сознание и образ мира. – М., 2000. – С. 191–206.
- Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М., 2004. – 264 с.
- Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М., 1987. – 261 с.
- Караулов Ю.Н. Семантический гештальт ассоциативного поля и образы сознания // Языковое сознание: Содержание и функционирование. XIII Международный симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации: Тез. докл. – М., 2000. – С. 107–109.

- Караулов Ю.Н.* Элементарная фигура знания и ее отображение в структуре языкового сознания // Речевая деятельность. Языковое сознание. Общающиеся личности: Тез. докл. XV Междунар. симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации. – М., 2006. – С. 140–141.
- Кинцель А.В.* Психолингвистическое исследование эмоционально-смысловой доминанты как текстообразующего фактора. – Барнаул, 2000. – 110 с.
- Князева Е.Н.* Методы нелинейной динамики в когнитивной науке // Синергетика и психология. – М., 2004. – С. 29–49.
- Леонтьев А.А.* Языковое сознание и образ мира // Язык и сознание: Парадоксальная рациональность. – М., 1993. – С. 16–25.
- Леонтьев А.А.* Деятельный ум: (Деятельность. Знак. Личность). – М., 2001. – 392 с.
- Леонтьев А.А.* Основы психолингвистики: Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – М., 2005. – 288 с.
- Леонтьев А.А.* Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. – М., 2003. – 312 с.
- Леонтьев А.А.* Слово в речевой деятельности. – М., 2003. – 284 с.
- Леонтьев А.А.* Язык, речь, речевая деятельность. – М., 2003. – 216 с.
- Леонтьев А.А.* Психология воздействия в массовой коммуникации // Язык средств массовой информации: Учеб. пособие. – М., 2003. – С. 97–107.
- Леонтьев А.А.* Психолингвистические особенности языка СМИ // Язык средств массовой информации: Учеб. пособие. – М., 2004. – Ч. 2 – С. 66–88.
- Леонтьев А.А.* Творческий путь Алексея Николаевича Леонтьева // А.Н. Леонтьев и современная психология. – М., 1983. – С. 201–283.
- Леонтьев А.Н.* Деятельность. Сознание. Личность. – М., 1975. – 304 с.
- Леонтьев А.Н.* Образ мира // Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. – М., 1983. – С. 251–261.
- Леонтьев А.Н.* Потребности. Мотивы. Эмоции: (Конспект лекций). – М., 1971. – 39 с.
- Леонтьев А.Н.* Проблемы развития психики. – М., 1981. – 584 с.
- Леонтьев А.Н.* Эволюция психики. – М.; Воронеж, 1999. – 416 с.
- Матурана У., Варела Ф.* Дерево познания. – М., 2001. – 224 с.
- Моллер Р., Гросс Х.-М.* Обнаружение совпадений и генерация гипотез – элементарная функция коры головного мозга // Синергетика и психология. – М., 2004. – С. 210–218.
- Нейрофизиологические механизмы мышления // Бехтерева Н.П. (отв. ред), Гоголицын Ю.Л., Кропотов Ю.Д., Медведев С. В. – Л., 1985. – 272 с.*
- Павлов В.М.* Проблема языка и мышления в трудах Вильгельма Гумбольдта и в неогумбольдтианском языкознании // Язык и мышление. – М., 1967 – С. 152–162.
- Пищальникова В.А.* Общее языкознание. – 2-е изд. – М., 2003. – 212 с.

- Пицальникова В.А. Основы динамической теории значения: когнитивный аспект // Лукашевич Е.В. Когнитивная семантика: эволюционно-прогностический аспект. – М.; Барнаул, 2002. – С.3-20.
- Пицальникова В.А. Психопоэтика. – Барнаул, 1999. – 176 с.
- Пицальникова В.А. История и теория психолингвистики: Курс лекций. – М., 2005. – Ч. 1. – 296 с.
- Рубинштейн С.Л. Избранные философско-психологические труды: Основы онтологии, логики и психологии. – М., 1997. – 463 с.
- Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб., 2000. – 688 с.
- Сонин А.Г. Когнитивная лингвистика: Становление парадигмы. – Барнаул, 2002. – 222 с.
- Сонин А.Г. Понимание поликодовых текстов: Когнитивный аспект. – М., 2005. – 220 с.
- Сонин А.Г. Моделирование механизмов понимания поликодовых текстов: Дис. ... д-ра филол. наук / РАН. Ин-т языкознания. – М., 2005 а. – 311 с.
- Тарасов Е.Ф. Языковое сознание // Вопр. психолингвистики. – М., 2004. – № 2. – С. 34–47.
- Теория речевой деятельности. – М., 1968. – 272 с.
- Трофимова И.Н. Взаимосвязь характеристики темперамента с некоторыми особенностями познавательной деятельности человека // Вопр. психологии. – М., 1997. – № 1. – С. 74–82.
- Трофимова И.Н. Синергия динамики тела и восприятия мира // Синергетика и психология. – М., 2004. – С. 61–82.
- Фриман У. Дж. Динамика мозга в восприятии и сознании. Творческая роль хаоса: Пер. с англ. // Синергетика и психология. – М., 2004. – С. 13–29.
- Anderson J.R., Bower G.H. Human associative memory. – Wash., 1973. – 275 p.
- Bechtel W., Abrahamsen A. Connectionism and the mind: An introd. to parallel processing in networks. – Cambridge (Mass.), 1990. – 320 p.
- Bentler P.M., La Voie A.L. An extention of semantic space //J. of verbal learning a. verbal behavior. – N.Y.; L., 1972. – Vol. 11. – P. 491–496.
- Bruner J.S. The course of cognitive growth // Amer. psychologist. – Wash., 1964. – Vol. 19, N 1. – P. 1–15.
- Chase W.G., Clark H.H. Mental operations in the comparison of sentences and pictures // Cognition in learning and memory. – N.Y., 1972. – P. 205–232.
- Johnson-Laird P.N. Mental models. – Cambridge, 1983. – 298 p.
- Kosslyn S.M., Pomerantz J.R. Imagery, propositions, and the form of internal representations // Cognitive psychology. – N.Y., 1977. – Vol. 9, N 2. – P. 52–76.
- Mallot H.A., Kopecz J., Seelen W. V. Neuroinformatik als empirische Wissenschaft // Kognitionswissenschaft. – Heidelberg, 1992. – Bd 3, N 1. – S. 12–23.
- Neisser U. Cognitive psychology. – N.Y., 1967. – XI, 350 p.
- Osgood Ch. Studies on generality of affective meaning system // Amer. psychologist. – Wash., 1962. – Vol. 17, N 1. – P. 10–28.

Paivio A. Imagery and verbal processes. – N.Y., 1971. – 596 p.

Paivio A. Neomentatism // *Canad. j. of psychology.* – Toronto, 1975. – Vol. 29. – P. 263–291.

Piaget J., Inhelder B. L'image mentale chez l'enfant. – P., 1966. – 463 p.

Pylyshyn Z.W. What the mind's eye tells the mind's brain: A critique of mental imagery // *Psychol. bull.* – Wash., 1973. – Vol. 80, N 1. – P. 1–24.

Rosch E.N. Principles of categorization // *Cognition and categorization.* – N.Y., 1978. – P. 560–567.

Rumelhart D.E., Lindsay P.H., Norman D.A. A process model for longterm memory // *Organization of memory.* – N.Y, 1972. – P. 197–246.

The role of imagery in memory: On shared a. distinctive information // *Marschark M., Richman C.L., Yuille J.C., Hunt R.R.* // *Psychol. bull.* – Wash., 1987. – Vol. 102, N 1. – P. 28–41.

ПАРАДИГМЫ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

Сборник научных трудов

Редактор-составитель выпуска – Л.Г. Лузина

Художественный редактор Т.П. Солдатова

Технический редактор Н.И. Романова

Корректор М.П. Крыжановская

Гигиеническое заключение

№ 77.99.6.953.П.5008.8.99 от 23.08.1999 г.

Подписано к печати – 10/X – 2007 г. Формат 60х84/16

Бум. офсетная № 1. Печать офсетная Свободная цена

Усл. печ.л. 11,5 Уч.-изд.л. 10,1

Тираж 500 экз. Заказ № 179

**Институт научной информации по общественным наукам РАН,
Нахимовский проспект, д. 51/21, Москва, В-418, ГСП-7, 117997
Отдел маркетинга и распространения информационных изданий**

Тел/ Факс (495) 120-4514

E-mail: market@INION.ru

Отпечатано в типографии ИНИОН РАН

Нахимовский проспект, д. 51/21,

Москва, В-418, ГСП-7, 117997

042(02)9

